

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОКТАБРЬ.

№ 10.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
С. Малашкин.— Наследство, повесть	3
Елена Зарт.— Восточные рассказы	24
А. Грин.— Золотая цепь, роман	38
Бор. Пильняк.— Человеческий ветер, рассказ	59
Стихи: Вера Ильина, Владимир Луговский и О. Колычев.	67
Х. Раковский.— Восстание на броненосце „Потемкин“. Воспоминания	70
Ил. Вардин.— Грузинский меньшевизм до и после августовского восстания	86
А. В. Луначарский.— К 200-летию Всесоюзной Академии Наук	99
Проф. Р. Куллэ.— Роман в современной Франции	113
Проф. П. Ю. Шмидт.— Новейшие успехи русской биологии.	123
По Советской земле.— Г. Гайдовский.— „Двери в Азию“.	132
Критика: Г. Якубовский.— Сейфуллина и ее критики	140
Отзывы о книгах	148

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА — 1925

Москва, Главлит № 44.240.

10.000 экз.

„Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Наследство.

Повесть С. Малажкина.

I.

Жил Егор Егорович Уповаев не сытно; одевался не тепло, а временами очень тосковал о родном своем Вязове. В особенности, в свободное время от работы—по ночам,—кроме ночей свободного времени у него не было,—лежит, бывало, за ситцевым пологом на большой деревянной семейной кровати, смотрит в потолок и думает о родном своем Вязове, и вся ему жизнь вязовская представляется, как на ладонке. Вот стоит его изба с почерневшей крышей. Верхушка крыши ветром пораскрыта, ребрами на солнышке греется, по ночам звезды считает, а на крыше, это около карниза-то, растет зеленая лебеда—к солнцу тянется; вот к избе подходит дымчатая, с белым лбом и брюхом, с круто загнутыми рогами, корова Машка. Эту корову он все время мечтал переменить, в особенности, когда он смотрел на ее рога и считал зарубки. И, действительно, зарубок на рогах Машки было очень много—около двенадцати. И, судя по зарубкам, срок ее жизни становился коротким, а главное, не будет телят по великим постам приносить,—она всегда телилась в половине великого поста,—а это большой убыток для хозяйства Егора Егоровича Уповаева. Вот за Машкой к сеням подбегает овечка, которую тоже звали Машкой. Она останавливается перед задертой дверью сеней, сердится, топает маленьким копытцем, ждет, а если ей долго не открывают дверь, она пятится назад на несколько шагов, затем разбегается и — разом лбом! дверь громко ударяется о стену, и Машка бегом бежит через сени прямо на двор к корыту с душистыми помоями.

...Хорошая и умная была скотина...

Вспоминая Машек, Егор Егорович Уповаев сладко вздыхал, поворачивался на другой бок и разговаривал с собой. Разговор его был опять насчет хозяйства и Машек. Он говорил: «Машка бы отелилась, и телочку он пустил бы на племя, обождет годок, а потом продаст вместе с коровой и на эти деньги купил бы кобылку немудрящую»...

— Эх...

Жена Ольга, не сткрывая глаз, тяжело ворочалась в постели.

— Мужик, а мужик!..

Егор Егорович молчал.

— Что ты все вздыхаешь?

Жена поворачивалась на другой бок. Между женой и Егором Егоровичем лежал трехлетний мальчик Тишка; он, закрывшись с головой одеялом, сладко насвистывал носом. Дальше, за занавеской, по другим углам комнаты и тоже за ситцевыми занавесками, на больших семейных кроватях, спали другие квартиранты; они на разные голоса храпа и свиста брали тишину ночей; они спали крепко, как убитые. Только изредка просыпался годовалый ребенок у прачки Крапивиной, орал хриплым, надорванным плачем; надорван плач был у него от голодных дней, от одиночества: Крапивина часто бросала его одного в большой комнате квартиры и уходила на целый день на поденную работу—стирать богатое белье; а если она была дома, то тоже сладости для ребенка было не особенно много: в эти дни, когда она не ходила на работу по господам, она брала стирку на дом к себе, зажигала «гретц» и грела на нем воду,—так делали все квартиранты,—ставила около своего угла две табуретки, на них корыто и принималась работать, а ребенок, сипло крича, ползал тут же, около ног матери, по разбросанному грязному белью. Так проходили дни и ночи...

Егор Егорович повертывался лицом кверху, прислушивался: жена и Тишка спали, спали и остальные квартиранты, и в комнате с резкими всхлипами шипел, посвистывал их сон; и еще оставшийся с вечера, висел тяжелый запах махорки, перемешанный с потным запахом одежды, белья и с вонью давно погашенных «гретцев». Перед глазами Уповаева опять стояли Машки и кроткими темнотными глазами глядели на него и говорили ему о его хозяйстве. Он улыбался и радостно шептал: «Продам вас, Машки, и на вырученные деньги куплю кобылку». Машки улыбались, кивали ему головами и как-будто говорили: «Продай. Конечно, продай. Мы твое горе и нужду хорошо понимаем: ну, как можно жить домохозяину без кобылки?» Егор Егорович шевелил губами; бесконечно вздыхал и улыбался: «Да вы уж на меня, Машки, не обижайтесь: судьба наша, значит, такая». Машки еще больше раскачивали головами, земно кланялись ему.

— Мужик, а мужик,—спрашивала жена,—ты болен?

Уповаев не отвечал.

— Хорошо бы кобылку купить,—думал он и открывал глаза, и в темно-желтом сумраке питерских ночей встречался с кроткими любящими глазами жены и вздрагивал.

— Не спишь?

— Спала,—врала она ему.—А ты?

— Спал,—врал и он ей.

— А вздыхал?

— Так.

— Скоро полночь; надо спать.

Такими беспокойными, тревожными окликами Ольга всегда вспугивала сладкие, больно щиплющие за сердце мечты о родном Вязове, о желанном и брошенном хозяйстве. После ее окликов Егор Егорович терял из виду любимых Машек, избу с почерневшей крышей и с зеленой лебедой у карниза; вместо Машек и избы он видел пустое место, огороженное забором,—впрочем, о том, что сломали избу и двор, а пустую усадьбу обнесли забором, рассказывал ему еще в позапрошлом году брат жены, который ежегодно ездил домой на побывку,—да с засученными рукавами Ферапонта Петровича, громко рассуждавшего с своими сыновьями о том, что в будущем, бог даст, году он на этом месте построит дом и откроет бакалейную и мануфактурную торговлю, а кабак оставит в собственном доме. При воспоминании о Ферапонте Петровиче сердце у Егора Егоровича замирало и под ложечкой кто-то жадно принимался вытягивать последние его соки. Он клал на сердце ладонь, потом корявыми пальцами ловил на выпуклых крупных ребрах тонкую желтую кожу, схватывал ее и, отдирая от ребер, зажимал в кулак; потом ложился на левый бок, подгибал голову и подпирался колким, плохо выбритым подбородком в грудь, и засыпал тяжелым сном и спал беспросыпно до утра. По утрам первой поднималась Ольга, зажигала «гретц», кипятила жестяной большой чайник и готовила завтрак. С Ольгой поднимались и другие квартирантки и тоже зажигали «гретцы» и принимались готовить завтраки. В комнате стоял всегда душный запах керосиновой копоти, подгоревшего растительного масла, в особенности этот запах был резок по утрам и вечерам, когда работники собирались на работу и приходили с работы. В это время они набивали свои желудки на целые дни и ночи. Мужчины ели жадно и много, они плохо разбирались в пище, да и некогда им было. За несколько минут до первого гудка они просыпались, садились в одном белье на кровати и начинали тяжело и тягуче кашлять, а когда откашливались, принимались завертывать натошак толстые цыгарки, от которых комната, похожая на грязную казарму, наполнялась едким желто-зеленым дымом. В этом дыму были смутно видны очертания стен комнаты, столы, табуретки и углы постели, затянутые пологам из дешевого ситца. Женщины, одетые в грязные лохмотья юбок, скользили в дыму и копоти, как тени, и только лихорадочно блестели их малокровные, злые от горя и тяжелой нужды, глаза. Они по утрам часто между собой ругались, а иногда доходили и до драки. Ругались чаще всего из-за ребят, уборки и других пустяков. Мужчины в их брань редко когда вмешивались.

— И без нас обойдутся,—говорили они в таких случаях и, молча, под брань и слезы жен уходили медленной походкой на работу.

Жены, потрясая в желто-зеленом воздухе кулаками, кричали им вдогонку:

— Сволочи!

— Голодранцы, несчастные!

А когда мужья скрывались; они снова начинали ругаться, поливаться самыми отборными словами, а когда запас слов истощался, они, каждая от своего угла, выбегали на середину комнаты, поворачивались спинами друг к другу, поднимали лохмотья юбок и звонко, корявыми ладонями хлопали по обнаженным и тощим мясам.

— На, поглядись!

— Тьфу, дура! Ты поглядись.

— Вот моя... тебя не боится...

— Ах, ты...

Дальше этого не шли,—некуда. Они, нагледевшись на тощие и поджарые ничетой окорока, уходили к своим углам и тупо, без злобы и ненависти смотрели оттуда друг на друга. А через два или три десятка минут забывали свою брань и пускались рассказывать всевозможные новости. Нужда и суровая битва за жизнь наложили на женщин тяжелый отпечаток. Они, кроме свирепой злобы, выливающейся так яростно временами на поверхность, имели и прекрасные добрые сердца, которые широко развертывались перед человеческим горем, перед горем товарищей, что последний кусок хлеба, последнюю крошку делили на несколько частей, потом наивно радовались и голодали вместе.

— На миру и смерть красна...

Егор Егорович Уповаев редко когда разговаривал по утрам с товарищами по работе; он молча вставал, молчью заворачивал цыгарку, молчью выкуривал ее до самого корешка, молчью одевался и молчью выходил из-за полога своего угла,—впрочем, так поднимался по утрам и остальные его товарищи: Трофим Сорокин, Игнат Хомутов и Яшка Гвоздь. О последнем, пожалуй, этого нельзя сказать: он иногда очень зло поругивался со своей женой Анной, пощипывал ее, отчего она цовизгивала, но на ее визг и слезы никто не обижался, а снисходительно и добродушно говорили:

— Недавно поженились. Медовый месяц-то иногда бывает и не особенно сладок...

— Потерпит. Что же тут особенного: это с нами тоже было. Пусть пожируют.

И они, молодые, жировали: Яшка Гвоздь уходил на работу без чая и завтрака, а его жена поднималась после его ухода с сильно опухшими глазами и ходила по комнате, как шальная.

Чай пила, обедала и завтракала каждая семья за своим столом. Мужья ели, а жены около стола стояли навтытяжку, смотрели на мужьев, облизывая губы. Мужчины ели по многу и быстро. Они большими деревянными ложками задевали из блюд мытый и промасленный растительным маслом картофель и сразу запикивали его в широко открываемые рты и, как жерновами, работали челюстями. После картофеля, в прикуску с белым хлебом пили чай.

— Ешь,—всегда говорил своей жене Егор Егорович и подвигал к ней блюдо с картофелем.

— Ешь, ешь,—отвечала Ольга,—я и после успею: мне только делов...

Егор Егорович ласково смотрел на жену, на ее большой, высоко поднятый живот.

— Сядь, чего ты стоишь.

Жена вздыхала и садилась.

— Ты знаешь, я опять видел сон...

— Ты все, мужик, думаешь...

— Вижу, это во сне-то, Феропонт Петрович на нашей усадьбе новый дом поставил из красного лесу и пристройку, и тоже из красного лесу...

— Постройку видеть нехорошо, мужик,—к покойнику... Ты смотри там, около кранов-то...

Егор Егорович неприятно морщился и отодвигал от себя блюдо с картофелем, брал большой бокал с надписью наискосок: «поздравляю со днем ангела», и, отворачиваясь от жены, тревожно говорил.

— Пустяки... А в пристройке открыл новый кабак. А около кабака нарядный по-праздничному народ толпится, хоровод водит и пляшет...

— Нехорошо,—вздыхала Ольга,—нехорошо...

— А ты не каркай,—сердился Егор Егорович и быстро вылезал из-за стола, брал из рук жены небольшой сверток с хлебом и куском мяса и уходил на завод. Так ежедневно, день за днем, месяц за месяцем и год за годом, текла его жизнь. Текла в нужде, холоде и голоде и в тяжелом двенадцатичасовом рабочем дне. В первые годы он страшно тосковал о своем родном хозяйстве, проданном за бесценок богатому мужику, тосковал днями на работе, тосковал ночами на широкой семейной кровати, во сне и наяву, и только на четвертом году в Питере стал забывать свое родное хозяйство и привыкать к тяжелому ярму рабочего. Он всем своим существом помирился с заводом, с сырым уютом своего угла, затушеванного дешевой ситцевой занавеской, он целыми днями работал на дворе Путиловского завода в качестве черно-рабочего, разговаривал с краном, когда задевал крюк его журавлиной шеи за тюки железа, спрессованного из обрезков. Кран работал, журчал и рычал своими мускулами; ворочал своими мускулами и Егор Егорович, и две эти силы ворочали тысячи, десятки тысяч пудов железа в полном согласии друг с другом. Но чья была жизнь лучше и спокойнее—было трудно сказать, ибо за краном всегда ухаживали, всегда внимательно за ним следили, всегда смазывали, чтобы он был в исправности. За жизнью Егора Егоровича Уповаева никто не следил, никто, кроме жены Ольги, не ухаживал, а ему за двенадцатичасовой труд бросали восемнадцать целковых в месяц, на какие он должен держать угол и большую деревянную кровать в каком-нибудь воюющем квартале

прекрасного Питера; и еще, кроме собственного желудка, набивать еще два желудка—жены Ольги и четырехлетнего Тишки; и еще, чтобы не мерзло тело, на эти же самые деньги покупать лохмотья... Но Егор Егорович не унывал, он все больше и больше отрывался от села Вязова, и он хорошо чувствовал, что он от села и от хозяйства—отрезанный ломоть, он вывалился из чернозема со всем гнездом, а в это гнездо глубоко засел Ферапонт Петрович и широко и благодатно разрастается,—почва как раз по его могучим корням, а не по корням Уповаева: его, уповаевские корни—это он хорошо видел—были уже не для села Вязова, а для города и уже начинали вростать медленно, но верно в заводскую почву, питерскую,—особенно он это хорошо видел и чувствовал на четвертый год своей жизни в Питере, когда в больнице от родов скончалась его жена Ольга,—он был в это время на заводе, разговаривал с краном и ворочал с ним тяжести железа и чугуна...

Жена умерла тихо и без жалоб. Перед смертью она просила сиделку передать мужу, чтобы он берег себя и Тишку. А еще: «если найдется хорошая женщина, пусть женится», и больше ничего не завещала. В этот день вечером Егор Егорович Уповаев ходил в больницу и там, в мертвецкой, долго смотрел на жену, на ее желтое испитое лицо, с острым, как лезвие, носом. Лицо Ольги страшно его поразило. Он как-то странно согнулся, словно на его плечи кран положил большой тук железа. Он шопотом спросил себя: «Разве у ней было такое вчера, позавчера лицо»? На свой вопрос он не ответил, он еще больше согнулся, опустил голову, почувствовал, как ему в ответ из его глаз покапались одна за другой слезы. От слез у него в глазах потемнело, и вся мертвецкая закружилась, и он, чтобы не упасть, взялся руками за нары, на которых стояли гробы с покойниками. Он только сейчас, у тела жены, познал в теле своем неизвестную до сего времени слабость и решил, что он тоже больше не работник, но веселое и беззаботное лицо Тишки заставило его вздрогнуть и вытянуться во весь рост.

— Вы домой возьмете покойника?—неожиданно спросил доктор и положил пухлую руку на плечо Уповаеву.

Егор Егорович растерялся.

— Чахотка. Плохое сердце,—говорил доктор,—поэтому не выдержала.

Егор Егорович молчал.

— Плохо питались. Организм страшно истощен.

Егор Егорович тупо смотрел на доктора и безразлично согласился.

— Возьму.

Через два дня, в воскресенье, он схоронил жену. На похоронах участвовали товарищи по квартире. Яшка Гвоздь, чтобы не было больших расходов для Уповаева, один высадил прекрасную могилу, куда и положили на вечный отдых жену рабочего,

Ольгу. А Трофим Сорокин,—он работал в столярном цехе Путиловского завода плотником,—любовно смастерил большой дубовый крест на могилу, на котором собственноручно Яшка Гвоздь написал:

«Отдыхай от трудов спокойно, Ольга».

II.

После смерти Ольги судьба Егора Егоровича не повернула в лучшую сторону, а покатила под уклон и пошла трепать его с Тишкой еще более жестокой нуждой. Впрочем, судьба трепала и не одного Егора Егоровича с Тишкой, она трепала и его товарищей по квартире: и Трофима Сорокина, и Игната Хомутова, и Яшку Гвоздя, и Крапивину с дочерью. Трепала она их все под один и тот же уклон, под который и Уповаева. За десятилетнюю совместную жизнь в одной комнате у Трофима Сорокина умерло от голода, сырости и холода четверо годовалых Ванек и две пары такого же возраста Машек, а за ними на этом же году умерла и жена Авдотья. Первое время, когда умирали первенцы-дети, он тосковал и скатывал в лохматую рыжую бороду из карих и кротких глаз слезы, а когда умирали остальные, он привык к их смерти и таскал их безразлично, как-будто так и надо, как-будто они только для того и рождаются, чтобы дожить до года, а потом и умереть. За последним ребенком умерла и его жена Авдотья. Ее он тоже отнес на могилу без слез и без тоски и только на пятый день после похорон не выдержал: бросил столярный цех и запил. Гулял он целую неделю, пока не спустил все свои лохмотья, а потом, когда гулять стало неважно, он в одну из выжженных ночей, чтобы не разбудить товарищей по квартире, бесшумно, за своим пологом, в своем углу, в котором он бессмысленно прожил больше десятка лет, прицепил веревку, приготовленную еще вчера, за большой черный крючок, похожий на палец, на котором выкачивались до году его восемь человек детей. Когда была готова петля, он вышел из-за полога, поклонился поясным поклоном углам, затянутым друг от друга грязными ситцевыми пологами. Кланялся он от всего своего сердца каждому углу по три поклона, а после поклонов, посмотрел на каждый угол и каждому, прощаясь, говорил:

— Простите.

— Не поминайте лихом.

Ушел к себе за занавеску, в свой угол, и прыгающими пальцами надел на шею петлю. Петля прихватила лохмы рыжей бороды, которые неприятно щекотали шею под подбородком. Он, стараясь быть спокойным, непослушными пальцами выпростал бороду, сильно качнулся телом и, волнуя грязный полог угла, завертелся около кровати...

На другой день утром, после первого гудка, его вынули из петли и схоронили под один и тот же крест, сделанный им же в

столярном цехе Путиловского завода для жены Егора Егоровича Уповаева. Этот крест принял на свое тело очередную надпись: — «Мир тебе, Трофим».

Через неделю хозяйка сдала угол другому квартиранту, рабочему с Путиловского завода. И женщины, и дети не стали больше бояться пустого угла, полога, шевелившегося временами от воздуха, или от дрожания стен, — стены дрожали от сильного движения улиц. Мужчины тоже больше не вспоминали Трофима Сорокина, да им и некогда было вспоминать — они целыми днями гнули спины, выворачивали свои мускулы, заводили ребра за ребра в тяжелой работе двенадцатичасового рабочего дня; поздно вечерами, усталые, изможденные, набивали пустые желудкашки пищей, надували горячим чаем, а ночами беспробудно спали. По праздникам они уходили с квартиры с своими семьями в соседний трактир и там, под музыку, распахнув на все пуговицы праздничные лохмотья, закусьвали, пили чай и водку. Так нудно текла их жизнь, и они жили тупо, покорно.

В одно из таких воскресений Егор Егорович Уповаев собрался в трактир. Он надел свое неизменное пальто с протертыми локтями, отрепанными рукавами и сел на табуретку около своего стола.

— Ты скоро?

За пологом возился, пыхтел Тишка. Он наворачивал на ноги портянки, чтобы было теплее и, тужась, надевал отцовские сапоги.

— Тишка, — ворчал сердито Егор Егорович, — скоро?

— Сейчас, — пыхтел Тишка и топал каблуками.

К Егору Егоровичу подошел Яшка Гвоздь, заглянул ему в глаза.

— В трактир?

— В трактир. Да вон мальчонка задерживает.

— Ты все что-то Егор Егорович по трезвости ударяешь, а? — спросил ласково, но серьезно Яков Гвоздь.

Егор Егорович подозрительно посмотрел на Якова Гвоздя. Лицо у Гвоздя было нынче особенное — светилось из золотистого вьющегося руна бороды, а глаза, как большие опрокинутые колодцы, смотрели на него голубым весенним небом. Он сердито отвернулся.

— Ты что такой веселый?

— Не хочу больше ныть, Егор Егорович, надоело: нытьем делу не поможешь, а поэтому решил быть веселым.

— Веселым?

— Да.

— Тишка, — крикнул Егор Егорович и еще раз взглянул на Якова Гвоздя. Он, Уповаев, знал, что за последнее время Яшка Гвоздь ведет знакомство со студентами и с этого времени, как стал вести знакомство, совершенно переменялся; бросил пить вино, перестал колотить жену и ссориться с квартирантами. Он вечерами ежедневно уходил куда-то и приходил домой только поздно

ночами, приносил свертки и прятал их под кровать, а то и в сундук к жене,—об этом ему рассказал Тишка, когда он у него отнял небольшую бумажку, в которой было бог знает что написано.

— Кто тебе дал?—бросился он тогда на Тишку.

— Никто,—отрезал Тишка.

Егор Егорович завертелся около своего угла. Он позеленел от злости и испуга.

Тишка покраснел до ушей, засверкал карими глазами и, раздувая пунповые щеки, пятился к двери.

— Нашел...

— Нашел,—прохрипел отец и поймал Тишку за руку.

Тишка взвыл от боли.

Вот с этих самых пор Егор Егорович стал недолюбливать Якова Гвоздя. А Тишке своему строго-на-строго приказал не якшаться с этим безбожником и крамольником. Бумажку, отнятую у Тишки, он спрятал в карман, а когда Тишка со слезами после порки выбежал на улицу, он прошел к себе за полог и еще раз прочел бумажку, в конце которой было:

«Мы голодные и холодные, мы разуты и раздеты, мы требуем»...

— Это верно,—прошептал тогда он и добавил от себя:—мы просим только на три фунта хлеба.

Дальше было написано так:

— «Да здравствует стачка!

— Долой грабителей-капиталистов!

— Долой самодержавие!»

Егор Егорович глубоко вздохнул, надул воздухом без кровинки щеки серого цвета, затянутые жидкой бородежкой, подержал его немного во рту, потом шумно выпустил и сердито зажал в кулак бумажку

— Да-а,—протянул он громко.

— Ты больше, Яков Филиппович, моего Тишку не разражай своими бумажками.

Яков Гвоздь улыбнулся.

— Я ему не давал...

— Рассказывай. Я этого не позволю...

Яков Гвоздь обратился к Тишке.

Тихон дипломатично задвигал носом и снова нырнул за полог. Егор Егорович поднялся с табуретки.

— Ты скоро?—крикнул он Тишке и направился к двери.

— Ты пойдешь нынче на собрание?—остановил его Яков Гвоздь.—Уповаев повернулся.

— На какое?

— Ты разве не знаешь? Вчера вечером некоторые цеха об'явили забастовку.

— Знаю.

— Будешь?

— Не отстану,—бросил шопотом Егор Егорович и вышел с Тишкой из квартиры.

На улице его крепко обхватил январьский мороз. Он согнулся и вдавил лохматую голову в плечи, которые смешно поднялись кверху, к ушам и стали острее; задергал чахлой бородежкой; зашевелил темно-синими губами. Тишка в больших отцовских сапогах, в отцовском ватном пиджаке, что на теле Тишки болтался, как мешок, важно вышагивал впереди отца, то и дело подергивая красным от мороза носом. Тишка—не как отец—держал голову высоко и озорно, из-под солдатской черной папахи стрелял карими глазами, перекидывался с встречаемыми мальчишками, показывал им из широкого рукава кулак, а иногда заглядевшемуся мальчишке подставлял ножку, и тот кубарем летел под ноги бегущей по тротуару взад и вперед толпе. За такие шалости его дома строго наказывал отец, но наказания с Тишки слетали, как с гуся вода, и он становился еще более озорным.

— Что из тебя, Тишка, выйдет?—глядя ласково на сына, после порки, говорил Егор Егорович.

Тишка молчал, отворачивался от отца и дергал носом.

— Растешь ты без матери и, можно сказать, без...

— А ты-то,—всхлипывая, бросал сердито Тишка и неморгающими глазами смотрел на отца.

— Я?—вскидывая голову, спрашивал отец.—Я днями—на работе, а ночами сплю.

— Слпшь, а кто же меня дерет каждый день, как Сидорозу козу?

Егор Егорович растерянно и виновато прятал глаза.

Сейчас Тишка шел с отцом рядом и без шалостей. В голове тишкиной вертелась мысль, круглая и крепкая, как грецкий орех, которую он никак не может раскусить, а раскусить надо. Он, вышагивая рядом с отцом, то и дело поглядывал на сутулую фигуру отца и все время собирался спросить у него, за что он не взлюбил дядю Якова. Для Тишки дядя Яков был самый лучший человек из квартирантов. Он ему рассказывал о его матери, которую он помнит только по редким воспоминаниям отца. Отец вспоминал мать только тогда, когда он собирался его, Тишку, пороть за какую-нибудь шалость,—рассказывал о большой нужде, от которой мать заразилась чахоткой и умерла в больнице во время родов; рассказывал и о том, что если рабочие не будут бороться, то они все передохнут от голода и нищеты, а богатые будут жиреть и наслаждаться. И Тишка слушал его с большим вниманием и крепко полюбил. И сейчас ему было страшно жаль дядю Якова.

— Папа!

— Что?

— Зачем ты сердишься на дядю Якова?

Егор Егорович вытянул голову и посмотрел на сына.

— Ты еще молод.

— За что?

— А за то, что он тебя развращает,—бросил холодно Уповаев и зашагал быстрее.

Через несколько минут они вышли на Седовую улицу, потом повернули на другую.

— В этих бумажках—правда.

— Какая правда?

— Про рабочих...

— Отстань!

По тротуарам все так же взад и вперед бежала публика, бедная и богатая; по мостовой сколизили извозчики—ковровые сани, запряженные в тройки и крытые возки. На душе Егора Егоровича было нерадостно: он и сам хорошо знал, что он зря обидел Якова Филипповича; обидел он его не от сладкой жизни, а от горя и нужды, а что касается бумажек, которые приносит Яков Гвоздь, то он и без Тишки знает, что в них—большая правда о жизни. Но он, Уповаев, по этим бумажкам не пойдет. Он пойдет другой дорогой и Тишке не позволит итти,—поэтому-то он и взял его нынче с собой на собрание послушать о. Георгия.

Слушает он о. Георгия больше трех месяцев и состоит членом общества трезвости и членом рабочего союза. В работе союза он видит верный путь к улучшению рабочей жизни, а также и в речах о. Георгия.

— Ну вот и пришли,—сказал он Тишке,—идем сюда.

Они вошли в Отдел союза. Первым вошел Уповаев, а за ним Тишка.

— Это—трезвость?—стаскивая с головы папаху, спросил Тишка и стал оглядываться.

— Садись.

В Отделе союза было тепло и душно от народа. Егор Егорович, облокотившись локтями на стол, дул на сильно озябшие пальцы.

Тишка сел рядом с отцом.

— Озяб?

— Нет,—ответил Тишка.

В конце зала, перед глазами собравшихся, стоял большой стол, накрытый зеленым сукном, из-за которого торчали черные спинки кресел, а дальше, из-за стола и кресел со стены смотрели на Тишку два больших портрета в человеческий рост. Тишка прищурил левый глаз и остановился на одном портрете, с рыжей бородачки которого сочилась на него слащавая улыбка...

...И Тишка вспомнил Якова Гвоздя...

III.

Егор Егорович Уповаев разговаривал с соседом. Из слов соседа, рабочего с фабрики Шау, он узнал, что еще вчера вечером прекратили работу несколько крупных заводов и фабрик. Впрочем, разговаривал не один Егор Егорович с рабочим фабрики Шау,—разговаривали, спорили, кричали, размахивали руками все рабо-

чие. Они, разбившись на отдельные группы и кружки, выделяли из своей среды ораторов, которые становились на скамейки, вбирались на столы, произносили речи. Ораторы говорили больше всего о тяжелом положении рабочих, о забастовке, о войне. Были ораторы и от социалистических партий, стремились навязать рабочим свои взгляды на современное положение, а главное, всеми силами старались доказать рабочим, что мирная забастовка ничего, кроме разочарования и унижения перед заводчиками и фабрикантами, рабочему классу не даст; еще говорили и о том, что просить царя и унижать себя перед ним не следует, ибо он—тот же чиновник, но только самый главный и вместо милости, хлеба, восьмичасового рабочего дня накормит свинцом, казацкими нагайками. Таких ораторов, что говорили так о царе, как о самом главном чиновнике, рабочие провожали с большим недоверием, и даже иногда свистом и шумом, в особенности, если ораторы были из интеллигенции. Таким ораторам, когда они выступали на собраниях, рабочие откровенно говорили:—«Уходите. Уходите от греха». И они уходили, а если которые не уходили, то их брали под руки и выводили вон на улицу. Но они снова с большой настойчивостью ломались на собрания, говорили речи, разбрасывали прокламации, в которых настойчиво разъясняли рабочим положение, упорно звали на борьбу с самодержавием...

От такого крика и шума зал Отдела был похож на только что потревоженный улей...

Рабочий с фабрики Шау был радостно настроен. Он говорил:

— Наша фабрика решила—к царю.

— К царю?

— Да,—ответил он и вскинул острое лицо, похожее на пучок морщин.

— Ваш завод?..

Егор Егорович не ответил, так как в Отделе бурно заволновались рабочие, потом затихли. Волнение рабочих было похоже на пробег вихря по залу. Вихрь промчался и все стало тихо. Уповаев приподнялся, вытянул голову, отчего лохмы бороды смешно растопырились и пучками смотрели в разные стороны.

— Скажите, что случилось?

— Ничего.

Но это было неверно: глаза Егора Егоровича увидели высокую, стройную фигуру священника и загорелись огоньком.

— О. Георгий!—воскликнул рабочий с фабрики Шау.

Священник прошел через Отдел, подошел к столу, остановился около его левого конца, облокотился рукой на край стола, посмотрел несколько минут, пока занимали за столом места члены штаба, на собравшихся рабочих, которые с ватаанным дыханием, с полуоткрытыми ртами, широко неморгающими глазами смотрели на него и ловили каждое его движение, а когда члены

штаба уселись на места и когда за столом наступила тишина,— он подошел немного вперед.

— Во имя отца и сына и святого...

Зал поднялся, как один.

— Во имя отца и сына и святого...

— Духа,—протяжно бросил о. Георгий.

— Аминь,—облегченно и радостно вздохнул зал.

— Здравствуйте!—хриповатым баритоном, насыщенным любовью, сказал о. Георгий.

— Здравствуйте, батюшка!—ответили рабочие и смотрели на него и чего-то ждали.

— Что же, пойдём к царю?—спросил он и выше поднял голову с черными до плеч волосами.

Рабочие замерли, и в Отделе была такая тишина, что малейшее движение лиц было большим движением в зале.

О. Георгий стоял прямо и величественно около стола. Он прекрасными глазами обливал рабочих. Огонь его глаз трепетал, переливался по бледным, изможденным трудом и голодом, лицам. Рабочие стояли не шевелясь и жадно ждали его слова, ловили каждое его движение. О. Георгий повторил:

— Что же, пойдём к царю?

Большой наперстный серебряный крест дробил в червонную пыль желтое январьское солнце.

Рабочие после второго вопроса о. Георгия вздрогнули и, как один человек, одним горлом ответили:

— К царю! К царю! К кому же нам больше?...

Егор Егорович дергал лохмами бороды.

— К царю! К царю!...

Сосед его, рабочий с фабрики Шау, тоже:

— К кому же нам больше...

А когда зал успокоился и замер в ожидании нового слова от уважаемого батюшки, из зала выступил один молодой человек в студенческой форме, он вышел вперед к столу, остановился и, став боком между рабочими и столом, за которым сидел штаб и около которого стоял и о. Георгий, громким голосом выкрикнул:

— Товарищи!..

Рабочие кинули глаза в его сторону. О. Георгий попятился ближе к столу. А когда наступила тишина, человек с трибуны стал говорить. Рабочие совершенно не ожидали, что какой-нибудь студент выступит с трибуны и будет говорить о положении рабочих, против о. Георгия и о том, что к царю идти нет никакого смысла... В студенте что-то было особенное. К нему тянуло, как к хорошему, долгожданному товарищу, другу. Было видно, что рабочих поразила его прямая открытая смелость, решительность и искренность, а главное, его прекрасное смуглое лицо, с небольшими черными усиками и с черными глазами, посаженными глубоко под большой, изрезанный морщинами, лоб; лицо его светилось, разливало теплоту,

а с нижней, немного оттопыренной, губы бежала улыбка. Студент говорил необыкновенно осторожно, решительно.

— Товарищи! Нас призывают идти к царю, просить его милости,—просить, чтобы он облегчил нашу тяжелую жизнь и чтобы позволил нам свободно говорить о своих нуждах, свободно писать о них в газетах и книгах, чтобы позволил нам свободно собираться, соединяться в общества, стовариваться о том, как сообща бороться с хозяевами за лучшие условия труда. Это все нам действительно необходимо. Теперь нам не позволяют говорить и писать правду, не позволяют собираться. Уот и сейчас, когда я говорю, вывешено об'явление, что будет употреблена военная сила против тех, кто соберется на улицах. В казармах и других местах уже войска держатся наготове, в полном вооружении, чтобы идти стрелять в народ. Возможно, завтра кровь народа уже зальет улицы Петербурга... Так вот нас приглашают просить у царя свободы слова, печати, стачек, собраний и союзов. Действительно, товарищи, без этой свободы нам невозможно бороться за лучшую жизнь, бороться за светлое будущее, за такое устройство общества, когда не будет хозяев и рабочих, бедных и богатых, когда фабрики и заводы будут принадлежать всем работающим, когда труд всех будет идти на пользу всем...

Ропот зала перешел в напряженную тишину.

—... За это светлое будущее и борется социал-демократическая рабочая партия...

По залу Отдела пробежало волнение, отдельные крики летят на трибуну.

— Довольно! Долой!

— ...Еще нам предлагают просить царя, чтобы он призвал народ к участию в управлении, чтобы весь народ мог выбрать своих представителей в собрание, которое будет управлять страной. Товарищи! Неужели мы будем просить царя об этом? Ведь просить о чем-нибудь можно только того, кто хочет нам добра, а врагов наших мы никогда ни о чем не просим. Вам скажут, может быть, что царь заботится о благе народа, и он ведь...

— Аааа...—гудел зал:—Долой!

О. Георгий стоял с высоко поднятой головой и черными глазами смотрел в глубину зала.

— Товарищи!—кричал человек,—дайте мне закончить, а тогда и шумите... Нет у нас веры царскому слову. Разве царь любит народ, разве он заботится о народе? Отчего тогда он прячется от народа и боится его? Друзья народа идут к народу, говорят с ним об его нуждах. Царь для народа, восставшего, чтобы заговорить о своей нужде, заготовляет штыки, пули и картечь. Его слуги уже не раз велили стрелять в рабочих и крестьян. Товарищи! В Златоусте убито было в мирной забастовке около 70 рабочих, в Киеве и Екатеринославе в прошлом году стреляли в народ, стреляли в Ростове и во многих других городах. Недавно стреляли в Баку... Кровью народной запачканы руки царя. Защитников рабочих, социал-

демократов, борцов за лучшее будущее, сажает в тюрьмы, ссылает в далекие холодные места, он мучит и убивает их... Царь не хочет выслушать желание народа, он не хочет, чтобы выбранные от всего народа участвовали в управлении. Он говорит, что власть его должна быть самодержавной, он сам не раз повторял это. Он говорит, что властью этой он пользуется для блага народа. Товарищи! Нсужели для блага народа затеял он эту ужасную, преступную войну? Льется кровь наших братьев. Десятки тысяч сложили свои головы в проклятой Манчжурии, льются слезы вдов и сирот, слезы семей, оставшихся без кормильцев, раздаются стоны разоренных крестьян... Виновник этого горя, всех этих страданий—*царь!*

В зале—бурное движение. Кашель. Отдельные голоса: «Верно!». «Правильно!». И обратные, возмущенные, но неуверенные:—«Ложь!». «Довольно!». «Долой!».

— ...который позволил своим министрам, из-за интересов кучки высокопоставленных лиц, довести Россию до этой войны, и жизнь и труд народа расточает он, как бэзумец... Нет! Добра народ русский не видит, царь не друг нам, он враг рабочих.

Зал снова загудел, застучал кулаками, ногами.

— Долой! Довольно!

— Правильно! Наша кровь льется потоками...

Человек говорил необыкновенно. Он крепко взял в руки сердце рабочих, раскрыл его и лил в него всю боль, все горе угнетенных, всю ненависть к самодержавию.

— ...Он не хочет добра рабочим. И просить его мы не должны ни о чем. Царское правительство уступит только силе. Добровольно царь не откажется от власти, не даст народу прав. И мы не должны унижать просьбами достоинство народа. Перед величеством народа должен преклониться царь. Мы требовать должны, требовать прав своих. Мы, социал-демократы, приглашаем всех рабочих требовать...

— ...Мы требуем...

Зал отдела раскололся, поднялась одна половина, за ней другая, заорали в два горла.

— Оооо!.. Аааа!..

— Верно! Надо требовать, а не просить...

Оратор, разливая теплоту улыбки, спокойно стоял на трибуне, смотрел на орущих, на размахивающих руками. Он, видя, что ему больше не дадут говорить, громко выкрикнул:

— Долой самодержавие!.. Да дравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия!..

Егор Егорович неистово стучал кулаком по столу.

— Долой! Долой!..

Тишка от удовольствия раздувал скулами, цвел пуговкой носа, коричневыми глазами.

— Долой! Долой!..

Оратор под рев и гул ног сошел с трибуны. Глаза рабочих побежали за ним.

— Это не рабочий...

— Но он говорил правду...

— Царь...

— Он тебе покажет...

— Сволочь, как ты смеешь так говорить о...

На трибуну выбежал рабочий, блондин с большими рыжими усами, неуклюже подпер бока.

— Товарищи! Я не верю в царя: вместо милости, он встретит нас свинцом...

Зал Отдела взревел, неистово затряс кулаками.

— Долой! Вон! Вон!..

Блондин стоял с широко открытым ртом и, стараясь перекричать зал, орал:

— Не верьте попам!... зубатовщине...

Но ему не дали договорить: несколько человек схватили его и, подняв высоко, вынесли на улицу. Когда его тащили через зал, он вытащил из-за пазухи кипу прокламаций, взмахнул рукой, и листки, рассыпаясь по залу, шумно, как большие белые бабочки, зашелестели. От листков собравшиеся еще больше пришли в ярость, и бросились с кулаками на рабочего. Егор Егорович тоже немного зацепил его кулаком...

О. Георгий поднял руку.

— Царю небесный...

Зал замер, поднял руки.

— Царю небесный...

Молитва широкой волной раздвинула стены Отдела, вырвалась на мостовую, где была подхвачена тысячами рабочих, ждущих очереди войти в помещение союза, чтобы выслушать о. Георгия.

После молитвы о. Георгий стал читать петицию к царю. Его слушали, как пророка, и по одному его слову готовы были умереть десятки тысяч. Он говорил страстно и горячо. От его слов плавилась сердца рабочих. А от его священнической рясы и от наперстного креста туманились слезами глаза. Для рабочих о. Георгий и его ряса, и крест были тем магнитом, за которым они неудержимо тянулись вперед и вперед, толкали его самого. Он, от усталости еле держась на ногах, читал охрипшим голосом:

«Государь, мы, рабочие, дети наши, жены и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты...»

Зал жутко и больно выл:

— К царю! К царю!..

...«Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильными трудами, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою участь и молчать...»

Зал выл. Многие мужчины и женщины плакали.

...«Мы терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению; для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...

— Зал заколыхался, широко открытыми глазами впился в о. Георгия, поплыл.

— Лучше смерть, чем так...

Возвышая голос, о. Георгий продолжал:

...«Вот, государь, главные наши нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их—и ты сделаешь Россию сильной и славной, запечатлеешь имя твое в сердцах наших и наших потомков на вечные времена...

— Уууу!...—гудел зал...—На вечные времена...

...«А не позволишь, не отзовешься на нашу мольбу—мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем»...

— Умрем... Умрем...—ревел зал.—Веди нас, батюшка...

— Вот наша петиция к царю,—поднял руку о. Георгий.— Все ли изложено в ней? Так ли изложены наши нужды, как вы гсворили?

Неудержимый гул покрыл его слова.

— К царю! К царю!

Плакал рабочий с фабрики Шау. Плакали и другие рабочие. Плакали они не горькими слезами, а слезами радости. Они видели новую жизнь, которая даст возможность свободнее вздохнуть, не мерзнуть в холоде, не быть голодными, разутыми и раздетыми. Они ведь так настрадались, так намучились, а их дети, жены живут вместе с мокрицами по грязным, сырým углам подвалов, чердаков и преждевременно, не увидав жизни, умирают от чохотки и от разных болезней. По желтому лицу Егора Егоровича Уповаева тоже катились слезы. Перед ним, как и десять лет тому назад, когда он решил продать все свое мужицкое гнездо богатому мужику Фералонту Петровичу, стоит сейчас прекрасная жизнь, улыбается, обещает ему отдыхом, сытным обедом за тяжелый труд... Егор Егорович, при виде этой жизни, тоже улыбается, дергает лохмами темнорусой бороды и с благоговением смотрит на о. Георгия...

— Жизнь! Жизнь! — повторял он темносиними губами, из которых голод, и холод, и тяжелый труд высосали кровь.

Он с тупым шумом, звоном в голозе был подхвачен общей волной рабочих, вытолкнут на улицу, в плывущую навстречу толпу таких же рабочих, как и он.

На улице, на мостовой, он долго топтался, переступал с ноги на ногу, дергал костлявыми плечами. Он даже позабыл Тишку и только вспомнил его, когда почувствовал молодцеватый январ-

ский мороз, крепко хватаящий за лицо, за уши и насквозь пронизывающий тело.

— Тишка! Тишка!

Тишка стоял рядом, удивленно смотрел из-под большой черной папахи.

— Аа,—протянул радостно Уповаев и похлопал сына по плечу.

— Здорово, а? Давно нужно было бы так: к царю.

Новая жизнь всколыхнула все существо Егора Егоровича, и он был так молод и весел, как и десять лет тому назад, и полон энергии и воли. А главное, видел перед собой сытую жизнь и Тишку в новых сапогах и пиджаке, весело бегающего в школу.

— Ты тут,—сказал он Тишке,—а я думал...

Тишка рдел скулами.

— Говорят, царь приготовил обед...

— Обед,—повторил Егор Егорович и так же, как и Тишка, по-детски цвел улыбкой.—Обед...

А волны рабочих все прибывали и прибывали к Отделу и все дальше и дальше оттесняли Егора Егоровича и Тишку, а с ними и других рабочих, вышедших из оюза.

Егор Егорович почти не заметил, как он с Тишкой очутился около своей квартиры.

Он беспрерывно шевелил губами:

— Жизнь! Жизнь!

IV.

Яшка Гвоздь и его жена Анна из большого чайника пили чай и ели белый хлеб. А в углу, около своего полога, Крапивина стирала бельё и изредка поругивалась с семилетней дочерью.

— Ты у меня не смей ходить на улицу.

— Все ходят...

— Ты у меня смотри...

— Я с Тишкой...

— Не смей, говорю.

Крапивина женщина была нервная и истеричная. Она терпеть не могла, когда с ней так разговаривала малолетняя дочь, которую она по-своему и своеобразно любила. Она часто говорила, что побои не так плохо действуют на детей, а раз это так, то она счень усердно проводила этот способ в жизнь. Впрочем, такой способ проводили и остальные соседи по углу: его проводил и Егор Егорович, и его покойная жена Ольга, и покойница Сорюкина, и жена Игната Хомутсва, только за последнее время против такого способа страшно протестовал Яков Гвоздь. Он, когда наказывали ребят,—если происходило при нем,—поднимался из своего угла и шел на защиту ребенка, в особенности он заступался за младшую Крапивину, так как мать порола ее жестоко. Крапивина в порке своего ребенка находила большое удовольствие.

Когда она только еще прикасалась к ребенку ремнем, то все ее лицо, похожее на недозревшее сморщенное яблоко, покрывалось жидким румянцем, а когда она опускала на тело ребенка первые удары и когда раздавался резкий крик ребенка, она приходила в сладчайший восторг и порола до тумана в глазах, до головокружения. Вот в эти-то моменты Яков Гвоздь брал Крапивину за плечи, отталкивал в сторону от ребенка, и Грушку брал к себе за полог.

— Как ты смеешь...

— Смею...

— Как ты смеешь...

— Успокойся, дура...

И она успокаивалась и начинала жаловаться Якову Гвоздю на свою судьбу и на то, что если бы был у ее Грушки отец, она небось бы не отбилась бы от рук матери: он ей показал бы, как надо слушаться...

Яков Гвоздь добродушно согляшался, а когда Крапивина успокаивалась и к ней на смену злобы приходила такая же страстная любовь, как и к побоям, он выпускал Грушку из своего полога и мать, обливая детское личико горькими слезами, принималась крепко и нежно ее целовать.

Сейчас Крапивина наливалась злобой.

Грушка пятилась к пологу Якова Гвоздя.

— Я с Тишкой.

— Не смей, говорю, лахудра!

— А я пойду...

Крапивина бросила в мыльную пену белье и злобно рванулась.

— Стой! Стой!—отстраняя ее назад от дочери, говорил Яков Гвоздь.

— Не волнуйся, это тебе вредно.

— Пусти...

— Остынь, остынь. Уж ты больно горяча... Вот и наши трезвенники,—бросил в сторону двери Яков Гвоздь.

В комнату вошел Егор Егорович и Тишка.

— Ну, как дела?—спросил Яков Гвоздь.

Уповаев ничего не ответил.

— Чаю хочешь?—предложил Яков Гвоздь.

Уповаев поморщился.

— За своим ходим.

Борода у Егора Егоровича была всклокочена. Всклокочена она была от большого удовольствия. Из бороды белели снежинки и превращались в тепле в слезы. Глаза были прищурены и в темно желтых, изрезанных мелкими морщинами, веках бегали карие глаза, бросали золотистой пылью.

Яков Гвоздь внимательно смотрел на товарища по работе.

— О. Георгий подогрел?..

Уповаев не ответил. А через пару минут сказал Тишке.

— Обогрелся?

Тишка смоганул носом и жадул щеки.

— Чайку.

Тишка одной ногой слетал в соседний трактир за кипятком, а когда чайник и хлеб были на столе и Уповаев и Тишка приступили к чаю и к еде, Яков Гвоздь снова обратился к Егору Егоровичу с вопросом относительно собрания членов «Союза Русских Рабочих».

Егор Егорович только после первого стакана чая развязал язык.

— Хорошо говорил. Столько было народу! Одни слушали, а другие на улице около Отдела ждали очереди.

— Хорошо? нахмурился Яков Гвоздь.

— Хорошо,—подтвердил кивком головы Уповаев.—В следующее воскресенье идем...

— Решили?

— Да. Все, как один вынесли: к царю...

Тишка перевернул кверху дном стакан, поставил его на блюдце и, прожевывая хлеб, уставился на Якова Гвоздя. А когда прожевал, сказал:

— Я тоже пойду.

— И я пойду,—сказала Грушка и дернула за рукав Тишку.— Идем.

Тишка, не обращая внимания на Грушку, все так же смотрел на дядю Якова

— А ты пойдешь?

— Я?—спросил Яков Гвоздь и взглянул на Тишку.

— Он не пойдет,—улыбаясь, ответил за Якова Уповаев.— Его товарищи были в Отделе и пробовали раздавать бумажки...

— Ты?

— И я... мы их благородно выставили...

— И ты веришь, что царь...

Егор Егорович нахмурился.

— Верю. А ты не веришь? Не пойдешь?..

Яков Гвоздь пожал плечами.

— Видно будет,—и обратился к Тишке:—Тебе, Тихон, понравился отец Георгий?

— Да. Только...

Егор Егорович векинул голову, сердито посмотрел на сына. Тишка задвигал носом, забегал глазами, то по лицу отца, то по лицу Якова. Яков Гвоздь поднялся с табуретки и, глядя упорно на Тишку большими голубыми глазами и улыбаясь уголками губ из золотистого вьющегося руна бороды, сказал:

— Я и твой отец еще только намек на пролетария, а ты настоящий будешь пролетарий. Так, что ли?—и он ласково хлопнул его по плечу.

Тишка засверкал карими глазами и почувствовал, как от похвалы дяди Якова по его телу разлилось удовольствие.

— Я?

Яков Гвоздь громко засмеялся.

— Да.

Тишка поднялся и громко выпалил:

— У него, у попа-то, пальцы были розовые, тонкие и шевелились, как черви.

Егор Егорович дернулся и неожиданно ударил ладонью по щеке сына. От удара Тишка застыл на месте, а на его лице зацвел белый цвет от ладони, брызнули из веселых глаз слезы; а из носа красная струя крови. В этот момент у Тишки было не одно лицо, а два: из-за веселого, по детски восторженного лица, выплядывало плачущее и только после второго удара оно превратилось в знакомое, которое очень часто видали после порки. От второго отцовского шлепка Тишка бросился к двери.

— Я тебе дам пролетария...—рычал Уповаев.—Я тебе...

За Тишкой бросилась испуганно Грушка.

— Егор Егорович,—крикнула визгливо Крапивина,—хорошенько и мою дуреху...

А когда Тишка вылетел из комнаты на двор, Егор Егорович бросился на Якова Гвздя.

— Я тебе покажу, как развращать ребенка...—сопел он и прыгал вокруг богатырского тела...

— Я тебе...

Яков Гвздь тоже кружился и, зорко глядя на кулаки Уповаева и увертываясь от ударов, ловко схватил Егора Егоровича сзади поперек тела и, высоко подняв, повертел над своей головой и со смехом, не желая причинить ему никакой боли, потащил его в угол и бросил на широкую семейную кровать.

—Отдохни!—и выбежал под смех и шутки своей жены Анны и Крапивиной.

— Ну, и сила у твоего мужа!—визгливо смеялась и выкрикивала над корытом Крапивина.—Ну и сила!

(Окончание в следующем №).

Восточные рассказы.

Елена Зарт.

I.

Б о й.

Умирал Раджаб.
От Самарканда до Мачи—нет человека богаче Раджаба.
Это настоящий—бой ¹⁾).

О богатстве его по татжикским кишлакам ²⁾ говорят, понижая голос. Откуда-то узнали, что в саду его зарыт сундук с драгоценными камнями. И что привезли ему из Бухары птицу, сделанную из золота, с бриллиантовым клювом и рубиновыми глазами.

Когда был туи ³⁾ внука его Алибея, со всех окрестных кишлаков собрались гости, и все видели на Раджабе серебряный пояс, осыпанный бирюзой, жемчугом и изумрудами.

В горах Магиан-Фарабской и Кштутской волости пасутся его стада баранов. А по долине Зеравшана он ежегодно засеивает до сорока десятин риса. Раджабу—семьдесят лет, но его черные глаза на-выкате блестят, как у молодого. Впалые щеки, обросшие жидкой седой бородой, покрыты румянцем. Правильный нос с горбом, высокий лоб, изрезанный мелкими морщинами, и упрямые, резко очерченные губы делают его похожим на Иоанна Грозного, особенно, когда зимой выходит он на базар в шелковом халате, опущенном лисьим мехом, опираясь на высокую палку, похожую на посох. Голову он держит высоко, выставляя острый кадык на худой морщинистой шее, ходит уверенным шагом и держится, как человек, привыкший быть всегда первым.

Раджаб ненавидит новый закон.

Он говорит:

— Новый закон хочет все... как оверо... ровное... Не будет новый закон... Я хозяин... Умру—сын будет хозяин... Старый закон крепкий. Всегда будет старый закон...

У Раджаба есть сын Музфар.

¹⁾ По-татжикск. —богач.

²⁾ Салам.

³⁾ Семейный праздник—обрезание, свадьба и т. д.

Потихоньку его зовут—дево́на ¹⁾. У него странный взгляд исподлобья. Растерянная улыбка. Руки в длинных рукавах висят всегда, как плети.

Заглушая боль, Раджаб говорит про него:

— Музафар—молодой.

Молодой! Разве он не помнит себя молодым? Разве от молодости эта несвязная речь и забитый взгляд, точно Музафар не наследник бэя Раджаба, а какой-нибудь жалкий малай.

Сын Музафара Алибой похож на Раджаба. У него такие же черные глаза и горбатый нос. Ему четырнадцать лет. У него упрямый нрав. Он вспыльчив и никого не боится.

Раджаб знает, что он ходит потихоньку к новому учителю. И несколько раз слышал, как утром вполголоса Алибой пел по-узбекски странные песни... Но Раджаб не мешает ему. Он верит в старый закон. Стада баранов, рисовые поля и золото—это старый закон. Вырастет Алибой—будет хозяин. А теперь пусть поет узбекские песни о новом законе...

Раджаб на своей земле выстроил деревянную мечеть с двумя колоннами. Вырыл около нее большой хаус ²⁾. Посадил цветы. Он соблюдает все, что требует старый закон.

«Мулло Раджаб», как все зовут его,—первый бой татжикской области—как же ему не соблюдать старый закон?

Но славится он не только своим богатством.

Все знают, что у него есть арабские книги, по которым можно узнать будущее. И какие-то странные лекарства, вывезенные из Китая, которыми он лечит от всех болезней.

По этим книгам Раджаб должен прожить до восьмидесяти годов. А китайское лекарство давно должно было унять кашель и жар, иссушивший его до костей.

Раджаб более не предсказывает будущее. Он умирает. И знает об этом без всяких книг...

Раджаб лежит на широкой террасе, на мягких шелковых одеялах. Он с трудом может открыть глаза и повернуть голову. А руки у него тяжелые и чужие. Он не знает, куда положить их. Только мысли в голове по-прежнему ясные, а воспоминания до того яркие, что кажется—вся жизнь стоит перед глазами.

Ночь пересыхает во рту. Изнеможенное тело покрывается холодным липким потом. Раджаб задыхается. Судорожно глотает воздух. Это мешает ему думать.

...На широкой площади, около мечети, где теперь базар, осенью целыми днями играли в грецкие орехи. Клади в ряд десятка два и били камнями... Раджаб ловкий, меткий, он обыгрывает всех. На нем фиолетовая чалма и тонкий мачинский пояс... Султан, брат его... старик... умер давно... И такой же, как Рад-

¹⁾ Дурачок.

²⁾ Небольшой пруд.

жаб, тоненький мальчик... в шелковой чалме... А дядя Рузи-бой призывает его и говорит:

— Будет орехи гонять. Пора. Большой... Погоню баранов в Джизак... Поедешь с нами...

— Большой!—усмехается в полузабыты Раджаб:—шестьдесят лет назад... большой!..

Вспоминается Курой—первая жена его—и сын Исан.

В один день умерли оба от черной оспы... Курой не боялась его. Все жены потом боялись. Одна Курой никогда не боялась... Когда он сдвигал брови—она целовала его в губы. Глаза у нее были синие, как небо весной... Исану было семь лет... Теперь он был бы старше Музафара... Раджаб держал его на руках, когда он задыхался от жара... Чудится Раджабу, что он и теперь слышит голос его:

— Ота ¹⁾!.. Ота!.. унеси меня... Мне жарко. Ота... унеси меня отсюда...

Ездил Раджаб из Бухары в Хиву, из Хивы к киргизам... Присадал... Покупал... Богатство само шло к нему... Скупой был. Никому не доверял... Везде сам... Дети умирали. Четыре раза женился. Много детей было—остался один Музафар.

«Умру,—думает Раджаб,—кто хозяин будет?.. Молод Музафар».

И бежит от него сон. Смотрит он на звездное небо. На светлую плоску за выступами гор; и шевелится морщинистая кожа на его лбу.

— Не забыть бы чего... Больной. Распорядиться некому... Вот хотел сказать—днем и забыл: надо велеть баранов в Бухару гнать. В июне новый лесничий поедет в Кштут и Магиан-Фараб... Старик Шукур сказал... это уж верно... По пятнадцати копеек с головы придется платить да штраф... Пусть до августа в Бухаре пасутся... Со старым об'ездчиком можно поладить... Надо утром послать Сулеймана. Музафар сам не сделает... у него и в голове нет подумать о стадах... Молод Музафар...

— Мухтор! Мухтор!—зовет он малая.

Мухтор спит на кошме у него в ногах.

— Позови Музафара,—беспокойно говорит ему Раджаб.

А когда приходит Музафар, заспанный и испуганный, он говорит ему, тяжело переводя дух:

— Завтра пошли в Кштут... Сулеймана... Понял?.. Стада надо за перевал гнать до осени... Понял? В Бухару.

Раджаб смотрит на растерянное лицо сына, машет рукой и хрипит:

— Иди, иди!..

С каждым днем тяжелее делаются руки Раджаба. А грудь, как пустая. Томительно тянется ночь. Мучают воспоминания и за-

¹⁾ Отец.

боты. И нет покоя во сне. Закроет глаза. Забудется на несколько минут и снова до изнеможения отдаётся своим мыслям, точно торопится все вспомнить и все передумать в эти последние дни.

Раджаб почти наизусть знает коран. Это старый закон, который надо знать. Но ум его—холодный и земной. Он думает о смерти, как хозяин о своих стадах.

— Ситцу аршин пятьсот купить надо... За гробом Рузи-боя и то двести человек бежало... Каждому по два аршина дать... меньше нельзя... До базара не доживу... надо бы Мухтара в Самарканд послать... Да не успеет теперь...

Не взошло еще солнце, позвал к себе Музафара:

— Вели яму копать... На новом кладбище. К мечети поближе... Кирпичи готовы—в сарае. Вели сегодня на арбе свезти.

Потом прибавил:

— Сходи к мулле Мир-Саиду—пусть вечером придет... молитву читать... Умирать буду...

Когда в полдень мимо террасы проходил Алибой, Раджаб позвал его.

Часто Раджаб смотрел на Алибой, когда он стоял рядом с Музафаром. Закон не велит делать хозяином внука, когда жив сын. Но разве Музафар может быть хозяином?

Раджаб позвал Алибой, когда никого не было на террасе. Алибой подошел. Он не боялся Раджаба, как другие. Он всегда смотрел на него не то насмешливо, не то безучастно.

Раджаб помолчал, точно колебался и решал что-то.

Алибой смотрел в сад.

— Куда шел?—спросил его Раджаб.

— К учителю,—не опуская глаз, прямо ответил Алибой...

Раджаб помолчал. И, делая над собой усилие, сказал:

— Умру... Музафар хозяин будет... такой закон... Никого больше нет—ты да он... Всего много... Музафар—плохой хозяин... Смотри за ним... Вместе... Понимаешь?..

Алибой побледнел и молчал.

— Музафар не может один...—снова сказал Раджаб.

Алибой неожиданно громко отрезал:

— Недолго ему быть хозяином...

Голос у него был звонкий и говорил он отчетливо и резко.

Раджаб задыхался скорее. В горле у него засвистело—он хотел сказать что-то, но Алибой прибавил:

— Новый закон, бабай!

Раджаб поднял костлявую руку и, почти с ненавистью глядя на Алибой, прохрипел:

— Не будет нового закона!.. Я хозяин... Умру... Музафар хозяин... и ты... Вот закон...

Алибой замолчал и стал опять глядеть в сад.

Раджаб долго не мог отдышаться. А когда пришел в себя, сказал:

— Видишь—горы... Это—старый закон... Озеро не будет...
понял?..

Алибой упрямо молчал.

Неожиданная улыбка осветила вдруг лицо Раджаба. Вот и он такой же был. Никому не уступал. Хозяин будет Алибой... А это пройдет...

И он сказал:

— Ну, иди к своему учителю... Кто он... узбек... а?

Алибой с недоумением посмотрел на Раджаба. Тоже улыбнулся и ответил:

— Узбек.

— Иди, иди,—снова проговорил Раджаб.

Вечером пришел мулла Мир-Саид. Сутулый старик с большими очками на носу. Поздоровался:

— Сахар саламат бакуват бардам ¹⁾...

Глаза Раджаба, всегда блестящие, потускнели. Он смотрел в упор на Мир-Саида, точно не узнавал его. Солнце только что зашло за горы. Небо еще было прозрачно-ясное. Но почему-то Раджабу казалось, что в саду почти темно, что мгла, как ночной туман, спускается на землю, и лицо Мир-Саида сливается с этой мглой.

— Умираю,—сказал Раджаб,—все сделай, как велит закон... Сулеймен пригонит тебе баранов... Я сказал. Батман ²⁾ риса привезет завтра и богары ³⁾.

Мулла Мир-Саид низко поклонился, совсем дугой согнув спину, и сказал:

— Куллюк ⁴⁾, Мулло Раджаб.

Раджаб повернулся на спину. Вытянул вдоль тела тяжелые высушенные руки и закрыл глаза.

Мулла Мир-Саид посмотрел на него через очки. Подождал минуту, не скажет ли Раджаб еще чего-нибудь, и, повернувшись лицом на запад, стал совершать последний намаз.

Негромким тусклым голосом, растягивая слова и произнося их в нос, начал он это последнее напутствие, которое требовал закон. Он закрывал уши руками. Проводит ладонями по лицу и бороде. Кланялся. Садился на колени. И, не возвышая голоса, читал паизусть непонятные арабские слова.

Раджаб лежал, не двигаясь. Дышал часто и тяжело. Что-то щелкало и хрипело у него в горле.

И только, когда мулла Мир-Саид подошел к нему и, как требовал закон, провел руками по щекам его и бороде, Раджаб открыл мутные глаза и сказал:

— Музъ фара... и больше никого не надо...

¹⁾ Приветствие по-татжикски: будь здоров, как себя чувствуешь? и т. д.

²⁾ 8 пудов.

³⁾ Пшеница.

⁴⁾ Спасибо.

Мулла Мир-Саид ушел.

Уже полон двор набился народа. Большие носилки с кладбища стояли у ворот; Музафар, улыбаясь, разговаривал в Сулейманом, хлопая длинными рукавами о полы халата.

Мулла велел ему итти к отцу.

Когда Музафар подошел к Раджабу, отец посмотрел на него тем же долгим недоумевающим взглядом, как на Мир-Саида. А когда узнал, отрывисто и грозно сказал:

— Возьми ключи.

Музафар нагнулся, чтобы достать из-под подушки ключи.

— Нет! Нет!—даже застонал Раджаб,—умру, ключи возьми... понял... потом... Алибою все... понял.... Ты—молодой... будешь старик—отдай все Алибою...

Музафар стоял, растерянный, опустив длинные руки, как плети.

Раджаб не крикнул:

—Иди!

А только застонал, содрогаясь всем телом.

Музафар отошел от него.

Раджаб должен был умирать один.

Тяжелый черный полог давил ему грудь и голову. В пустой груди не было воздуха. Он открывал рот, длинно вытягивая губы, сдергивал с себя одеяло и хотел сорвать рубашку.

И опять увидал площадь у мечети, залитую солнцем. И себя в фиолетовой чалме. И слышит смех и крики...

— Раджаб всех ловчей, у него полон платок орехов... Неужели опять все, как тогда?.. Вот и Султан в белой шелковой чалме... Он хватает его орехи и со смехом бежит за мечеть.

Раджаб привстал на постели и крикнул:

— Султан!.. Султан!..

.....
Первый завыл Музафар... За ним какие-то старики, дальние родственники Раджаба... а потом и все, стоявшие во дворе. Этот вой оповестил всех, что Раджаб умер.

Торопливо шли по узким улицам люди к дому Раджаба. Покойника чуть свет унесут на кладбище и положат в могилу из кирпичей. Закон не велит держать его в доме. Мертвый не должен быть среди людей.

И понесут его бегом: все будут знать, что ни одной лишней минуты не продержали его здесь.

Торопятся приготовить для погребения еще незастывший труп Раджаба. Омыли тело его. Завернули в белый саван. Горбатый нос Раджаба стал еще острее и сжатые губы еще упряме. В руках у него янтарные четки, с которыми он никогда не расставался.

Двор и узкая улица набиты народом. Небо сереет отблеском рассвета. Вей стихает. Пронесли носилки в дом. Задвигались чалмы. Пронесся сдержанный говор. Через несколько минут,

высоко подняв носилки, вынесли тело Раджаба. Оно было узкое и длинное. Поверх белого савана лежал темно-синий халат...

Вышли на улицу, все ускоряя шаг. А когда дошли до широкой проезжей дороги, подняли носилки на плечи и побежали к кладбищу. За носилками, толкая друг друга, бросилась вся толпа. И чем ближе, тем быстрее бежали люди, точно за ними гнался жуткий призрак.

Могила готова. Она обложена узкими кирпичами. Сбоку широкое отверстие, чтобы в него положить тело. Могила пскожа на нору шакала. У входа в могилу, рядом с Музафаром, стоит Алибой. На нем—фиолетовая чалма. Лицо у него сухое, твердое, как у взрослого. Он равнодушно смотрит на работу могильщиков. Его занимает, как снежная вершина самой высокой горы загорается от солнечных лучей и как над кладбищем в этих лучах медленно кружатся орлы.

II.

М и р о б.

Про Максума говорят:

— Максум—первый человек.

Еще бы, Максум—мироб. «Распределитель воды»,—от него зависит кому и когда дать ее.

Он сидит на Кайнарё в чайхане, закрытый со всех сторон черной тенью тутовых и ореховых деревьев. С утра до вечера пьет чай. В ленивой полудремоте лежит на паласе, изредка закладывая себе под язык вонючий, черный «нос»¹⁾.

Но в стороне стоит его текмень. Рано утром или на закате он берет его, спускается вниз, поворачивает камни на арыках²⁾. Делает запруды. Исчезает за дувадами³⁾ соседних садов. И вода, там, где пройдет он, изменяет свой путь: у одних заливает клевер и сады, около других проносится мимо.

Кайнар—подземная река, с пеной выбивающая из-под скалы свои холодные волны. Сетью арыков она орошает Пенджикент, на несколько верст растянувшийся своими садами по Зеравшанской долине.

Когда-то пришел в эту страну верный сын Магомета. Измученный жаждой, он помолился, положил руку на скалу и из скалы потекла река.

Даже в Самарканде знают, что кайнарская вода исцеляет больных...

На высокой скале приносят священному Кайнару кровавые жертвы: режут козлов, и кровь их струей стекает по зубчатой стене в прозрачную воду.

¹⁾ Табак, который кладут в рот.

²⁾ Канавы для орошения.

³⁾ Глиняные заборы.

Старик Имам помнит, когда козлов резали каждый день. Тогда воды на Кайнаре было больше.

В конце мая кончаются весенние грозы. До осени наступают огненные безоблачные дни...

— Об... бисер, бисер об ¹⁾!..—стонут люди, покрытые черным загаром. Стонет раскаленная, потрескавшаяся земля. Стонут степь, сады и клеверные поля.

Будет вода—земля покроется буйной, сочной травой, цветами клевера, гроздьями винограда. Не будет—солнце все сожжет, все превратит в пепел.

Максум дает воду. Кто же может сравняться с ним? Он и сам знает. Много богачей в Пенджикенте. У многих в горах пасутся стада баранов и десятки тонапов засеяны рисом и богарой. Но первый человек Максум. Мироб. Никто не может сравняться с Максумом.

У Максума есть небольшой участок в верхней части кишлака. Вода протекает через его клеверное поле. Если бы участок был большой,—Максум давно разбогател бы. Но земли мало. Четыре тонапа. На них и клевер, и виноград, и бахча. Стоит одинокий карагач среди поля. Кибитка маленькая. Похожа на шалаш. В стороне круглая печь, в которой пекут лепешки. Вот и все постройки.

Максуму должны платить по пуду пшеницы с сада. Да разве со всех соберешь? Каждый знает, что этот пуд несколько не прибавит ему воды.

Вода невзначай потечет ночью или на рассвете только к тому, кто позовет к себе Максума и скажет, глядя куда-нибудь в сторону:

— Завтра батман богары пришлю. Ишаки на работе. Пригоны своего.

Если бы не эти батманы—разве мог бы Максум прожить на своем куске клевера? Каждый год рождаются у него дети. Этой весной родился восьмой. Мальчик. Назвали Хусин.

Жена у Максума—Изомат—больная. Кашляет. Дети в лохмотьях. Везде грязь. Придет Максум—посмотрит, посмотрит, стащит свою чалму с затылка на брови. Покрутится вокруг дома. Чего ему делать? И идет назад, в прохладную тень кайнареких деревьев, в полутемную чайхану, где разостлан палас и в клетке бьется горная куропатка.

Лет пять тому назад купил Худо-Верды, узбек из Урмитана, участок у Шарип-Оглы.

Захотелось ему жить в большом кишлаке Пенджикенте, поближе к Самарканду. В Пенджикенте узбеков мало. Почти все татжики. Приехал, как в другую страну.

¹⁾ В ды... много, много воды...

Но упрямя Худо-Верды. Лоб узкий, шея крепкая. Упрется— не сдвинешь. И гидит, что неладно, а все на своем стоит.

В Урмитане продал все свое хозяйство. Купил участок у Шарип-Оглы дешево, да с первого же года начались неудачи.

Весной волк у жеребенка бок выдрал. Потом ишак в арык упал, ноги переломал. Два года подряд мороз побил цветущий виноград. И молодую завязь урюка. А когда снял в аренду толчею для обработки риса—на главном арыке у Зеравшана, во время осенних дождей прорвало плотину, и до весны стояла толчея без работы.

За два года разорился Худо-Верды. Но вот надоумил верный человек в Самарканде разделить пустырь на участке и засеять клевером. Денег дал в долг. С рассрочкой. Дядя жены.

С весны зазеленело клеверное поле, ровное, яркое, чистое, как на подбор.

Приходят соседи-татжики, головой кивают:

— Накс... Бахмат ¹⁾...

Худо-Верды и сам видит, что клевер по новине пошел, какого не видал он на своем веку. Место—низина. Вся весенняя вода с участка собралась тут. А навоза Худо-Верды не жалел.

К концу мая, когда солнце разогрело землю,—встал клевер по пояс.

Утром выйдет Худо-Верды на поле—и стоит, заложив руки за спину. Узкие глаза шурятся от солнца. Не наглядится.

Вечером ворочается с боку на бок. Считает, сколько снопов у него. Арбакеш Рузи-бой триста снопов заказал. Не глядя.

Поправит свои дела Худо-Верды.

Недаром на базаре Мулло Карим-Берды раньше отворачивался, точно не замечал его, а теперь издали еще перзый кивает ему головой и приветливо говорит:

— Сахар саламат бакуват бардам ²⁾...

Как-то вечером пришел к нему старик Урун. Молча стоял, смотрел клевер и жевал губами.

Худо-Верды ждал—скажет ему Урун:

— Накс олаф ³⁾... Бахмат...

А он собрал на лбу своем складки. Поднял седые брови и говорит:

— У Максума был?

Не понял Худо-Верды:

— У Максума? У какого Максума?

— Мироба.

— Не был. А что?

— Сходи,—коротко ответил Урун.

Худо-Верды ничего не сказал на это. Только упрямо засопел и шею наклонил в землю.

¹⁾ Хороша... бархат...

²⁾ Что нового? как поживаете?..

³⁾ Хороший клевер...

Упрям Худо-Верды.
Зачем ему итти к Максуму?

Неделю стояло солнце прямо над головой, а веленнюю степь нельзя было узнать: точно пожар прошел по ней. Склонялась к земле пожелтевшая трава. Бугры стали пепельно-бурые и вдали зелеными пятнами обозначились тугаи ¹⁾, точно острова на мутно-желтой поверхности моря.

В садах, в тени тополей, абрикосов, персиков и черешен, трава поднялась выше пояса и покрылась красными цветами мака. Нежный аромат цветущих яблонь разлился в горячем воздухе и сверкал на солнце, как снег, лепестки и отцветающих черешень.

Но в степи на открытых полянах уже пробежал огонь, слизнул яркость зелени, покрыл все едва заметной пока желтизной.

Встал Худо-Верды утром до солнца, подошел к краю клевера. Посмотрел. Протер пальцами влажные от утренней свежести глаза. Еще посмотрел... И пошел на Кайнар.

Шел он медленно. Заложив за спину руки в длинных рукавах теплого халата. Смотрел по сторонам на сады. Как будто бы он гулял, а не шел по важному делу. Но шея и скулы налились, как железные. И ушки глаза горели холодным стальным блеском.

Издали увидал Максума. Он ворочал камни на арыках. Стоял босыми ногами в воде выше колен.

Подошел к нему вплоть.

Максум точно не видит. Ворочает камни текменем.

Постоял молча. Подождал.

Выпрямился Максум. Оперся о текмень. Перевел дух. Вытер ладонью на лбу пот.

— Э!—сказал Худо-Верды,—вода куда пойдет?

Максум сразу не ответил. Достал «нос», насыпал на ладонь и, запрокинув голову, высыпал в рот.

Но Худо-Верды ждал ответа.

— Хаджикулу вода... Его очередь...—Равнодушно и нехотя проронил Максум.

У Худо-Верды даже жилы на лбу надулись.

Коверкая татжикские слова, перемешивая их с узбекскими, он отрывочно заговорил:

— Очередь!.. Где очередь?.. Хаджикулу два раза очередь?.. Яман ²⁾... Клевер желтый стал. Пропадет клевер... Воды надо... Об даркор ³⁾... Слышишь?

— Твоя очередь после базара,—лениво протянул Максум, принимаясь за текмень.

— После базара,—лицо Худо-Верды стало темным, как

¹⁾ Заросли.

²⁾ Скверный человек.

³⁾ Воды надо.

бронза: два базара ждал. Больше нет!.. Не буду ждать больше!..
Давай воду! Слышишь? Ночью давай!..

Максум молча гыхтел и ворочал камни.

— У кай мури ¹⁾!—прохрипел Худо-Верды, и пошел от него прочь.

Солнце не вышло еще из-за гэр, когда Максум на своем головастом белом ишаке, болтая ногами, ехал к Хаджикулу.

Никто еще не говорил ему этой весной о «батмане богары».

Хаджикул—первый.

Хаджикул—настоящий бой ²⁾. Одного клеверу у него двадцать тонапов. Своя маслобойка. Рисовые поля. Купкаринские лошади.

У Максума дажно уже вышла вся мука. Семья десять человек. По одной лепешке дать—десять!

Чето-Каюм дал в долг пуд. А то бы есть нечего. А разве Хусину можно не дать лепешки? С'еси-то он немного, а кусок не выпустит из рук весь день. Бегает на кривых своих ножках и муслявит лепешку, пока не потеряет ее или не утачит у него собака.

Максуму мука нужна—Хаджикулу вода!

Хаджикулу никак нельзя без воды.

Меньше раза в неделю такое поле не польешь. А очередь раз в две недели.

Поливной-то три раза скосишь. А без воды и раз косить нечего.

Ишак Максума знает дорогу к Хаджикулу. Сам сворачивает по запутанным переулкам и перепрыгивает арыки.

Встретился малай Хаджикула Шамси. Сказал Максуму:

— Свезешь пшеницу—мешок верни.

— Хай, хай ³⁾,—ответил Максум.

Ворота у Хаджикула не запираются. У него большой хаус. Всегда свежая вода. Все соседи ходят за водой к нему.

У ворот спрыгнул с ишака. Ткнул его палкой в шею. Подогнал горнанным криком:

— Хр... хр... хр...

И вошел на просторный двор, как свой человек.

Хаджикул увидел его через полуоткрытую дверь. Закивал ему головой и вышел навстречу.

У Хаджикула прозвище «батман». Он низкого роста. Широкий толст. Лицо заплыло жиром. На нем легкий шелковый халат, черный с громадными красными цветами. На руках кольца с бирюзой.

Он улыбнулся Максуму и сказал:

— Саля маликум, мироб.

— Валикум, а салям, Мулло Хаджикул.

Низко кланяется Максум.

¹⁾ Здохни.

²⁾ Богач.

³⁾ Хорошо, хорошо...

- Ну, как много воды на Кайнаре?—спрашивает Хаджикул.
- Много. Хорошая вода.
- Недели три поливать клевер буду.
- Хай.
- Пшеница в сарае. Бери. На базаре восемь пятьдесят была.
- Кулзюк ¹⁾, мулло Хаджикул.

Худо-Верды до рассвета ждал воду.

Он не шел на Кайнар. Не бегал смотреть, куда идет вода. Не выражал ничем своего волнения и гнева.

Он сидел, как каменный, около входа арыка на свой участок.

По арыку уже давно не текла вода. Дно его потрескалось, и камни выпали с боков.

На рассвете он встал. Пошел к клеверу. Посмотрел. Желтая тень, уже ясно заметная, легла на клеверное поле.

Сорвал несколько увядающих листьев. Зачем-то растер пальцами. Еще постоял, уже не видя перед собой ничего, и пошел к воротам.

Сначала он пошел на Кайнар. Дошел до угла, где дорога сворачивает в гору, но потом сообразил что-то. Круто повернул в другую сторону. Решил идти к Максуму. Он подошел к его саду в то время, когда Максум ехал от Хаджикула с другого конца переулка.

— Э!

Кивнул ему головой Максум.

Но Худо-Верды не ответил ему на приветствие.

Он дождался, когда Максум отборил калитку, пропустил вперед себя ишака и хотел идти во двор сам.

Худо-Верды преградил ему путь.

Сверкая холодными узкими глазами, грозно сказал:

— Давай воду!

Максум почувствовал робость перед этим взглядом. Но неожиданно обозлился и буркнул:

— Воды нет сегодня.

— Нет?..—Багровея и задыхаясь сказал Худо-Верды.

— Нет.

— Нет?.. Нет?..—Бессмысленно повторял Худо-Верды.

— Нет,—упрямо отвечал Максум.

Хотел идти за ишаком в калитку.

Но Худо-Верды стоял, как приросший к земле. Кулаки его были сжаты. Лицо из бронзово-красного сделалось серым. И от этого казалось еще страшней.

Но Максум уже не мог уступить. И его охватило какое-то злобное упрямство.

Воды? Воды сколько хочешь. Поверни камень на нижний арык и будет вода. Разве Максум не знает, какой клевер у Худо-

¹⁾ Спасибо.

Верды. Для такого клевера не жалко батмана пшеницы. Чего уперся? Узбеки ишаки. Угерся—хоть убей его.

— Сказал, нет воды!—крикнул Максум. И, толкнув Худо-Верды плечом, скрылся в калитке.

Прошло еще несколько дней.

Воды не было.

Клевер погибал на глазах. Нашелся бы у Худо-Верды не один батман пшеницы. Но упрям Худо-Верды. Ходит по участку, шею нагнув в землю. С одной стороны поля зайдет. С другой зайдет. Сгорел клевер. Вот тебе и триста снопов не глядя. Вот тебе и поправил свои дела Худо-Верды. Не то что не поправит. Долга не заплатит.

Разорился Худо-Верды совсем.

Был базар. Узбеков из кишлаков наехало много. Худо-Верды на балахоне ¹⁾ Бободжана пил чай.

Около него сидел оборванный Артук, с голой грудью, в клетчатой выцветшей чалме.

Артук сказал:

— Сегодня в Самарканд идут арбы Бабека.

— Знаю.

После долгого молчания Артук спросил:

— Вернешься к базару?

— Не знаю,—нехотя ответил Худо-Верды. И, помолчав, прибавил:—Деньги сегодня.

— Хай, хай,—довольно сказал Артук и поставил пустую пиалу ²⁾ на клевер.

— Бас ³⁾.

Артук встал. Худо-Верды даже не посмотрел на него, когда он кланялся ему и говорил:

— Хозяин знает—я такой человек: сказал—сделаю! Панай худо ⁴⁾.

Худо-Верды спустился с балкона в самый разгар базара.

Покупать ему было нечего. Но он прошел наверх, где торговали кишмишем и привозным хлопком. Здоровался со всеми и говорил:

— В Самарканд еду—не надо ли чего. Вернусь пустой.

Через три дня после базара чайханщик на Кайнаре говорил малаю Хаджикула:

— Не был Максум сегодня. Сходи, не заболел ли...

Малай с текменем сидел и ждал.

Но солнце уже поднялось над тутом, а Максума все не было.

¹⁾—Балкон в мезонине.

²⁾ Чашка.

³⁾ Довольно.

⁴⁾ До свидания.

Малай ушел.

Через полчаса он вернулся снова и сказал:

— Ночью ушел Максум. Нет дома.

Посидел еще. И больше не стал ждать.

Сказал чайханщику:

— Придет,—скажи, Хаджикул велел на ночь волю пустить.

— Хай,—ответил чайханщик.

Поэдно вечером прибежал на Кайнар за отцом старший сын Максума Нейман. Чайханщик как-то особенно поджал губы и сказал, что-то соображая:

— Не был Максум весь день... Надо бы сходить. Поискать...

Утром весть, что Максум пропал, разнеслась по всему кишлаку. И его начали искать по садам.

Два дня искали Максума.

Арык Аксакал награду об'явил: пять батманов пшеницы, кто найдет мироба.

Никто не мог найти.

На базаре стоял на лошади Боямон. Раскачивался и кричал:

— Пять... батманов... пшеницы... кто найдет... мироба...

В этот же день мироба наконец нашли.

У сада Раджаба есть омут. Тут перекрещивается много арыков. Вода падает водопадом с большого камня. Здесь растут кусты, высокая трава. Много рыбы в воде и змей. Дно глубокое, как колодец. И в светлой воде на дне видны черные каряги. В этот омут всунут был головой Максум под корни полмытого тополя.

Нашел его Артук...

Говорили:

— Бывший басмач Артук. Глаза зоркие. Если бы не Артук, не нашли бы Максума.

Арык Аксакал прибавил ему батман.

Спросил:

— Куда тебе пшеницу?

Знает, что Артук бездомный.

Артук осклабился:

— Куда? На базар вези. Продашь—деньги мне. На что мне твоя пшеница?

Из Самарканда последняя остановка перед Пенджикентом—кишлак Джартепе.

Когда уселись гить чай, пенджикентские арбакешы сообщили едущим из Самарканда новость:

— Максума убили. Мироба.

Худо-Верды, не отрываясь от пиалы, спросил:

— Кто убил?

Но никто ему не ответил ни слова.

Золотая цепь*).

Роман А. Грина.

XIII.

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галлерее. С ним был Дюрок. Он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галлерей и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел; а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцем по подбородку.

— Здравствуй, Санди,—сказал Ганувер.—Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О, да!—сказал я.—Все еще не могу опомниться.

— Вот как?—задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня; прибавил с улыбкой.—Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь—не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, как Дюрок; который; получив ночью телеграмму; отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты выкинешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слоном в лоб королю.

— Одну из этих партий,—заметил Дюрок,—я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца,—сказал Ганувер,—ведь так Санди?

*) Продолжение, см. № 9.

— Простите,—ответил я,—за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я—моряк,—сказал я,—то-есть, я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти?—сказал я.

— Ну, нет. Если ты—приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лагуне. Тебе с твоим живым соображением это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассеян на-грой: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс, подтянуть грот, рифы и брасы»..., а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе переделать Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галлерей, Ганувером, Молли, и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь,—хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне, и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы,—сказал Дюрок,—а Дигэ; наверное, проницательна и умна.

— Дигэ...—Ганувер на мгновение закрыл глаза.—Все равно. Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода, и уже вдова,—сказал Дюрок.—Кто был муж?

— Ее муж был консул в колонии; какой—не помню.

— Брат очень напоминает сестру,—заметил Дюрок,—я говорю о Галуэе.

— Напротив. Совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится,—сказал Ганувер,—но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя,—сказал Ганувер, развеселившись,—стрижемого пуделя! Наконец, мы соединились!—вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверху очков; величайшая приятность расплзлась по его широкому, мускулистому лицу. Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество,—сказала Дигэ.— Горничная повела счет и уверяет, что утром прибыли человек двадцать!

— Двадцать семь,—вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно, и был своим, а я, я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте,—холодно отозвалась Дигэ,—что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху.

Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навестил вас?—продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера.—Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество,—сказал Ганувер.—Все приглашенные—живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества,—об'яснил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово *живой*, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы,—об'явила Дигэ,—применяя ваше толкование.

— Но и само по себе,—сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером,—заявил Ганувер,—пока же предпочитая бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков?—сказал Галуэй, косясь на меня,—вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота,—сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством и не осмеливаюсь приближаться к нему,—сказала Дигэ, трогая веером подбородок.—Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер. Благодаря им, вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих, по крайней мере, с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу,—сказал Ганувер добродушно,—я—один из случайных людей, которым идио-

тически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало,—сказала Дигэ,—очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы,—сказал Галуэй,—как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся,—сказал Ганувер,—пойдем, послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин?—спросил Галуэй.—И тоже *живой*?

— Если не испортился. В прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю.—Дигэ пожала плечом.—Но, должно быть, что-то захватывающее!

Все мы вышли из галлерей и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте Поп удержал меня за руку, шепнув:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав:

— Поп!

Юноша поспешил с ключем открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня,—кажется и на всех,—неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

XIV.

Это помещение, не очень большое, было обставлено, как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый, как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— *Вот новости!*—раздался ревкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул.—*Довольно, если вы обвиняете себя в неуместной шутке!*

— Ах!—сказала Дигэ и увела голову в плечи.

Все были поражены. Что касается Галуэя, тот положительно струсил: я это видел по его беспомощному лицу, с каким он попятился. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте!—вполголоса сказала Дигэ,—дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений?—шепнул Галуэй.

— *Останьтесь. Я незлобив*,—сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий!—произнес Ганувер,—позволь рассказать твою историю!

— *Мне все равно*,—ответила кукла,—я—*механизм*.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека с своим подобием:

— Ты спас меня!—сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ:

— *Я тебя убил*.

Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание:

— *Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!*

— Ужасно!—сказал Дюрок.—Ужасно,—повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен,—Ганувер посмотрел на куклу, и спросил:—Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— *Я, Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой*.

— Вот ответ, достойный живого человека!—заметил Галуэй.—Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю,—сказал Ганувер,—мне об'ясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная помощью чувствительных цифр, вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении, произносить «Ксаверий»; иначе он молчит.

— Самолюбив,—сказал Томсон.

— И самодоволец,—прибавил Галуэй.

— И самовлюблен,—определила Дигэ.—Скажите ему что-нибудь, Ганувер; я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно!—расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— *Разве я прорицатель? Все вы умрете, а ты, спрашивающий меня, умрешь первым!*

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно!—вскричала Дигэ,—он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер. Это непростительное изобретение!

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы:

— Сердись на самого себя!

— Правда,—сказал Ганувер, кришедший в нервное состояние,—иногда его речи огорашивают, бывает также ответ непонят, хотя редко. Так, однажды я произнес:

— Сегодня теплый день,—и мне выскочили слова:

— *Давай выпьем!*

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен?—спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений, и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах...

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Об'ясни».

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров?—сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия,—об'явил Томсон.

— В самом деле,—продолжала Дигэ,—такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы,—очень серьезно ответил Ганувер.—В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия!—вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я в совершенном безразличии пошел было за ним, но когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенело задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство: он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца, — и, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV.

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руку под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем, сознание тоже просыпалось, и в то время, как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрнуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих, и, в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в сотрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть даже ночь. Огромное лунное окно стояло передо мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смещении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем, подменившим материальную ясность призрачной, лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колена статуи, серебро люстры, распыливалась в сумраке, где одна на всю мрачную даль сверкала неизвестная точка — зеркала или металлического предмета... почему знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь вместо того, чтобы волочить его полужаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы; внутри нас, если не точно, то с уверенностью сказало уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход этой волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заснул указания памяти относительно направления, блуждая мрачно, на угад, и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. С просонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошёл к лестнице и, опустясь вниз, попал на широкую площадку с запертыми кругом дверями. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галлерею, через которую шел днем,—найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова прошел к запертой двери и должен был повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где было совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался итти, но выдержал, пока не перемог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги—это приходило мне в голову вчера—но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светя около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу, среди мебели такого вида и такой хрупкости, что есть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освещил зрение, озарились *лишь эти* стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бредить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, как вышел, услышал негромко доносящуюся сюда, прекрасную музыку.

Как вкопанный, я остановился; сердце мое забилося. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза,—какой-то отрывистый перелив флейт,—манила и манила меня; положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда, взволнованный, как-будто это была *моя* музыка, как-будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь, сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы на-спех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда по близости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг с зачистившим сердцем я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя,—как мне показалось, и, миновав колонны, увидел разрезанную сверху до низу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI.

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса,—цветы среди блестящего мрамора,—как мое настроение выравнилось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти, случись все обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако, то, что я увидел, разом уперлось в грудь,—уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа: мужчин, одетых во фраки, и женщин—в красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят; может быть двести. Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но, благодаря зеркалам, казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных

феерий. Вокруг раздавались смех, говор, сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум-ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин,двигающих веерами и поворачивающихся с улыбкой друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках,—душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных мускулистых людей с упрямыми лицами, цепь девушек, колеблющихся и легких,—быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако, я вспомнил, что Ганувер назвал меня *гостем*, и я поэтому равен среди гостей и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в стороне. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но—увы!—это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я почувствовал себя глупо не от непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли об'яснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них, и, в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилося, когда я увидел приближающегося к ней как бы из зеркал или воздуха,—так неожиданно оказался он здесь,—Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней. Поколебавшись, я сдвинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался, как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем непрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер. Ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело с властной значительностью. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед затем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и, тоже протянув руку, весело потрепал мои волосы. Я стоял, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну, что, Санди, дружок?». И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал?—сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втощил меня в середину круга.

— Это—мой воспитанник,—сказал он.—Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

— Пруэль,—сказал я.—Санди Пруэль.

— Очень самолюбив,—заметил Эстамп,—смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра. У меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно,—заявил я, кланяясь с наивозможной грацией.—Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись!—сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! Ну, нет, конечно,—ответил тот, и я был оставлен при триумфе и сердечном весельи.

Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся, еще первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами в отличном расположении духа. Галуэй, держа щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон

благосклонно вслушивался. Одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложением веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли, — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, которая должна была радоваться и сиять здесь и итти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и Молли *уже была*. «Да, она была, — говорил я, волнуясь, как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнцем над его помраченной душой». Если бы я знал, где она теперь, — то-есть, будь она где-нибудь близко, я, наверное, сделал бы одну из своих сумасшедших штук: пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла, и от Ганувера все скрыто?

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более, что немногое, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно, мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться. Сам не отдавая в том отчета себе, я желал радости в сегодняшней вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и развернулось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить оправданием для меня тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие. Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей обводить чертой слов мелькающие, как пена, образы. Но этого я хотел без выражения, за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра, зовущая в Замечательную Страну.

Да. Всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старше, умнее, *тише*. Я мог бы, конечно, с великим удо-

вольствием сесть играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «с'ешь скорлупку», но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне положительно был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиток после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну, вот,—сказал Поп; слегка оглянувшись, он тихо прибавил:—сегодня произойдет *нечто*. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден и вы много сделали нам. Приготовьтесь; еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?!

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

— Поп,—сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость,—дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите, что с Молли?

— Ну, что вам Молли?—сказал он, смеясь и пожимая плечами:—*Молли*,—он сделал ударение,—скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь,—сказал Поп.—Не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер,—сказал Поп,—мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю,—сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как-будто в требовании мороженого было все дело этого вечера.—Какого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

— Я кофейного,—перебил Поп,—а вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал *ананасного*, но вы,—оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также, как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу еще днем, когда мы ели и пили, сказать: «Санди, вот какое у нас дело»...—и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, малое знакомство и все прочее, что могло Попу

мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом; так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом, от великой щедрости, воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку:

— Меня не будет за столом,—сказал он.—Очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп,—ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба,—не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо,—сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассеявшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого? Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу, и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огня и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает, как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучившим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенового лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной, оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII.

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а так же и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял её *на счастье*, загадав, что, если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица.

— Любит, не любит,—сказала мне эта женщина,—как у вас вышло?

Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руки в карман, озираясь среди красавиц, поднявших Санди, правда, очень мило, на смех. Я сказал:

— Ничего не вышло,—и, должно быть, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда подал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления тонкой, причудливой резьбы которого были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висели по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестяли живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь,— так высок и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, чем пена морская, скатертями;—столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них, сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеванный гулким эхо. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце столов, ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще незанятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значущим видом.

— Ты сядешь рядом со мной,—сказал он,—поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева.—Сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом; имея по правую руку Дюрока, а по левую—высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него, между Дюроком и Галуэем, поместилась Дига. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собрался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты—слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, ~~и~~ ничего не поняв, ответил: «Да. Это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще, я был, как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то-есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых грелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки,—с чем? Надо было с'есть *это*, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что, казалось, стоит с'есть немного; как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накопившийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, нашел самого себя и с'ел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять, и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком, в другом конце зала, с широкого балкона грянул оркестр и продолжал, тише, чем шум стола, напоминать Блещающую Страну.

В это время начали бить невидимые часы,—ясно и медленно; пробило одиннадцать, покрыв звуком все,—шум и оркестр. В разговоре от меня справа прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп?—сказал Ганувер Дюроку.—После обеда он вдруг исчез и не появляется. А где Поп?

— Не далее, как полчаса назад,—ответил Дюрок,—Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А... потому, что я видел его... тэт-а-тэт...

— Так,—сказал Ганувер, потускнев.—Сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет тоже капитана Орсуну. А я так ждал этого дня...

В это время влетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я,—сказал он,—не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как, феи!?—сказал Ганувер.—Слушайте, Дюрок это забавно!

— Следовало привести фею,—заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали,—заметил Галуэй.—Я совсем не пришел бы.

— Ну, да, *вы*,—сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахи-вая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам.—Вы—другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Как я поравнялся с южным углом павильона, то беспричинно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

— Босиком!—вскричал Галуэй, в то время, как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Нижняя часть заперлась. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком,—это совершенно точное выражение и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке,—ну, право же, очень миленькие чулочки: паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога,—капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя,—прошу прощения, другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

— Нога...—перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» и мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу: берите кисть, пишите ее! Это была фея, клянусь честью!—«Послушайте,—сказал я,—кто вы?»..—Катер обогнул кусты и предстал перед ее не то чтобы недовольным, но, я сказал бы, не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас. Я сказал: «Что вы здесь делаете?»—Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом,—о, какой это красивый был голос!—не простого человека был голос, голос был...

— Ну,—перебил Томсон с характерной для него резкой тишиной тона,—кроме голоса было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул стакан.

— Она сказала,—повторил капитан, у которого покраснели виски,—вот что: «Да у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить».—Все! А?—он хлопнул себя обеими руками по коленам и спросил:—Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

— Это была горничная,—сказала Дигэ;—но как солнце садилось, его эффект подействовал бы на вас суб'ективно.

Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли,—что-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь замолчавший с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов!—сказал он,—на мысе Гардена, с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл,—сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, повидимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и об'яснений я знал уже, что капитан видел Молли и что она будет здесь, здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, придет завтра.

— Очень жаль,—сказал Ганувер,—а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога,—сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника; а впрочем, я налью еще себе этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить; я видел это по устремленным на него взглядам. Он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости!—произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос.—Вы—мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия, или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, и продолжал так же спокойно.

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней. Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселия, случайностей, походов, тревог, дел и радостей. Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу, «Орландо». Амелия Корнилус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам,—по малодушью и легкомыслию,—не знаю, но не заплатил. На-днях мы выясним этот вопрос. Вильям Вильямсон! В вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я, после кризиса, не мог поднять ни головы, ни руки. Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз. Генри Токвилль!—Вашему банку я обязан удачным залогом,

сохранением секрета и возвращением золотой цепи. Лейтенант Глаудио! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь, сам не знаю, за что. Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Алена. Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы, первоначально, выслушали меня. И высмеяли. И, багровея четверть часа, наконец, сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три!».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого, безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев в бок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну,—сказал он, вынимая часы,—назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь.—Он задумался, с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся.—Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех, все: все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не об'яснить вам ее в кратких словах. Вероятно, эта страсть может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И я это понял недавно,—я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однеко неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу.—дело относится к прошлому. Тогда мы два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами груды чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шахерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего неизвестно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать»...

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ,—сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика —ну-ка, трящите старинной Али-Бабы и его сорока равбойников!

— Что же произойдет?—закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем!—заявила она; и если волновалась, то нельзя было ничего заметить.—Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните—как?..—сказал Ганувер Дигэ.

— О, да! Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился; лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, какой ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова!—закричал дон-Эстебан.

— Штраф!—сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких!—заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо!—вскричала Дигэ, топнув ногой.— Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу перебежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинувшись этому незначительному движению, все стены зала кругом вдруг отделились от потолка пустой светлой чертой и, разом погружаясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я вместе с сиденьем как бы поплыл вверх.

(Окончание следует.)

Человеческий ветер.

Рассказ Бор. Пильняка.

I.

Десять лет человеческой жизни—отлянуть назад на десятилетие—все это было вчера: все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые десять лет уходит с земли из жизни—одна пятая всех живущих на земле людей, миллиарды людей идут гнить в землю, кормить червей; впрочем, в эти же каждые десять лет и приходят в жизнь миллиарды людей, рождаются, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами, покояются эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями—И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая комната имеют свой запах—точно так же, как имеют свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетия скрещиваются иной раз—очень часто, и—за эпохами, за событиями городов и стран—ему, этому, данному человеку—морщинки у глаз, запах комнаты—существенней, многозначимей, чем события эпох.

Над каждой страной дуют свои ветры.

У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер тот, что пахнет человеческим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги и никогда не менялось сукно: это был письменный стол, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, пепел нельзя было сдуть со стола. И за низкими окнами в сад рос бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем,—и этот ветер застрял в его комнате.

И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний, промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечиною: это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, что—«люблю, люблю, навсегда, навсегда!»—были обвалы рассветов, когда в рассветном мире были—солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце,—она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны всем прекрасным материнством мира,—в сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку: ребенок тогда спал, новый Иван.—Все это было.—И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле от удушья человечины.

Это не был вечер, это была полночь. За окнами лил осенний дождь и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не сменялось. У нее опухли глаза и у глаз были морщинки. Он стоял у стола. Она стояла у дверей.

Она говорила:

— Иван, пойми, это все ложь, прости. Это было навождение. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили друг друга.

Иван Иванович наклонялся к свече и читал медленно, по складам, сотню раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею:—«Николай, это навождение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к одиннадцати, когда все уснут»...

Иван Иванович клал руку с лоскутком себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по складам:

— Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я навождениями не занимаюсь. И навождение тут тоже не при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели.— Ступай вон!

— Иван!—у нас же ребенок, у нас же сын!..

Иван Иванович сострил:

— У нас же-ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя были жеребцы.—Ступай вон!

И тогда у нее исчезли морщинки у глаз, остались одни глаза, полные ненависти, презрения и оскорбленности. Она прощептала ему, тоже по складам:

— Не-го-дай! И люблю, и люблю—его люблю, а не тебя!

Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверь. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле свеча. Дверь была открыта. Он

бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень увизительно и жалко:

— Аленушка—

Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь.

Потом на утро баба принесла записку:—«Иван Иванович, будьте добры»,—в записке просилось с посланной отослать вещи—ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их целый день, баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чай и обедать: он не думал о еде и, когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывезти тележку на улицу, на улице он жал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия и она рассудительно говорила, оттягивая руку:—«Мне што,—велят, я принесу, чай у меня ноги свои».—Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из этого города—куда-то по железной дороге, со всеми вещами, должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве,—через три он узнал, что у нее родился новый ребенок, мальчик, по имени Николай. Фамилия у мальчи́ка была его, — Ивана Ивановича Иванова, — Николай Иванов.

За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков.

II.

Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль,—в сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоинство; такие любви неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких любовях нет строительства.—Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую любовь можно отобразить образом: и жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на цыганскую шаль, которую наvertели на руку, завихрили, вихрили около ночных, загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развилась, упала—и упала она в очень мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил

в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с нею, потом она отдала его в приют. Семи лет от роду сын Николай узнал муку падучей, там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну,—просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей: впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевавшей родить ребенка (и еще впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой)...

И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях, и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен падучей,—она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все, положенное ей на жизнь, она отжила.

Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана, из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле. Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дортуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранила память о святом—о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось четырнадцать лет и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае (или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться): Николай замечтал об отце, Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся прятаться в приютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану длинно и нежно: Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему—

(Надо в скобках сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в великую русскую революцию)—

III.

Десять лет человеческой жизни—недолгий срок. И десять лет человеческой жизни—громадный срок!.. У Ивана Ивановича Иванова, отца, все больше и больше копилось за продавленным кожаным диваном окурков,—и все по-прежнему лежал город с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Не важно, кем был и мог быть Иван Иванович,

преподавателем ли гимназии или земским статистиком: над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем.— И там, в десятилетиях, в годах Иван Иванович помнит письмо от сына Ивана. Его принесли утром, первая строка там гласила— «Здравствуй, дорогой мой папа»—и в тот день Иван Иванович помолодел на десятилетье, запомнил солнце, помнил бурьяны рассветов, половодье лет,—и чуть-чуть лишь помнил страшную ночь, тот момент, когда он шел от одной открытой двери к другой, до калитки, когда он крикнул в мрак на улице:—«Аленушка»,—и в этот день ему все время вновь хотелось также крикнуть, только громко, только окончательно всепроцацуе, только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом.—И тогда же, скоро пришло другое письмо, от Николая,—и оно начиналось теми же словами, что и письмо Ивана:—«Здравствуй, дорогой мой папа»—и всей кровью, всей ненавистью, всей той промозглой ночью, пропахшей человеческой, ему захотелось крикнуть, опять, опять:—«вон! вон! к своим жеребцам!—мне ублюдков не надо!»—

...И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах и когда очень рано надо зажигать свечи (это было время, когда уже отгромыхивала революция). На дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой прошумел по лесенке сенц. Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо:

— Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов?

— Да, я здесь,—ответил Иван Иванович.

В комнату вошел невысокий человек, с палкой о резиновом набалдашнике, какие носят калеки. Плечи его были подняты. И в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось очень бледным, очень усталым.—Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу.—Он, этот человек, шагнул в комнату, и решительно и радостно остановился у порога. Он сказал:

— Вы—Иван Иванович?..—

и заплакал, и протянул вперед руки (палка упала на пол).

— Папа,—это я... твой... ваш сын Николай!—

Иван Иванович стоял у стола (у того самого стола, на котором перецветилось сукно),—и он не подал руки, он отвернулся от Николая,—он почуял, как сразу вся та ночь из десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо:

— Садитесь. Чем могу служить?

Николай ничего не ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери.

— Чем могу служить?!—громче сказал Иван Иванович.

Николай не понимал вопроса, не успел ответить.

— Чем могу служить!—закричал, завизжал Иван Иванович.

— Простите, я не понимаю—

Иван Иванович потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял

палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз.

— Простите, не знаю вашего отчества,—заговорил шопотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз.—Не знаю вашего отчества,—повторил он громче.—Извините. Нам надо об'ясниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию по недоразумению. Я не знаю, кто ваш...—Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы:—простите, вы курите?—нет?... Так!—Простите, я не имею чести знать, кто ваш... батюшка!

Николай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала: Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат.

— Да, да,—простите! Не имею чести! Я здесь не при чем!.. Не имею чести!.. Не имею чести знать, с кем... с кем приспала вас ваша матушка!

Николай не слушал больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на правую ногу, в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей.

— Да, да,—не имею чести! Не имею чести!—кричал вслед Иван Иванович.

...Братья Николай и Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил коридорного,—где брат?—Коридорный ответил:—они никуда не выходили-с.—Тогда Иван увидел на полу, за столом человека. Человек обнимал спинку стула. Иван, сильный человек, запутанный в ремни от сабли и револьвера, поднял человека на руки.

— Николай, голубчик, что ты?—спросил он тревожно.—Припадок?

Николай ответил покойно:

— Нет, никакого припадка нету. Я здоров. Я был...—Николай затомился словами.—Я был у Ивана Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была... что он не знает, кто мой отец, с кем приспала, так сказал он, меня моя мама.

— Что?.. наша мама—

На столе в номере горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы проваливались во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек сидел рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два человека, никогда не видевшие друг друга, но с первых дней

своего сознательного детства знаящие все друг о друге,—они говорили о маме, которую один из них помнил. И для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них было сухое слово—*негодяй*,—негодяй, который осмелился посягнуть на память матери—

...В уездных городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в грязь,—тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку Ивану Ивановичу Иванову, человеку, жизнь которого пропахла человечиною, выпало еще раз пережить ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери: была ночь наводнений, тех наводнений, которые некогда там за годами увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки, ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах «Москва». И Иван Иванович-отец кричал в темноту:—«Иванушка!»—Сын Иван не пришел к отцу.—И на утро отец Иван видел сына,—тоже, в сущности, единственный, последний раз,—на вокзале. Он, отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один опирающийся на палку с резиновым набалдашником, и этого хромого вел высокий, здоровый военком, запряженный в ремни от сабли и от револьвера, белокурый, румяный, здоровый, покойный человек. И отец увидел: глаза его были небывало похожи на глаза матери, на те озера, в которых некогда он мог топить мир и солнце.—Поезд ушел очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер.—По улицам, по деревянным тротуарам шел дряхлый, седой человек—

Дома в сенцах запахло человечиною.

IV.

Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой.

Бор. Пильняк.

О весне и любви.

Посвящение.

Не усмехайся, не язви,
Что я, как глупая девченка,
Лишь о весне, да о любви
Умею петь свежо и звонко.

Пускай приходит в свой черед,—
Ведя зиму,—старуха осень
И в белый иней уберет
Любимые тобою косы:

Над жизнью прожитой моей,
Последним схваченной морозом,—
Я буду петь, как соловей,
Над осыпающейся розой.

1.

Талым снегом пахнет влажный воздух.
Дышет ветер близкою весной.
Как тепло должны светиться звезды
В этот час над просекой лесной.

Но не спит забытая тревога:
Помню март в Серебряном Бору;
В блеске звезд по взрыхленным дорогам
Мы с тобой блуждаем на ветру.

И опят звенит и плачет тонко,—
Там, где глушь хранит твои следы,—
Под ногой разбрызганная пленка
Мерзлых луж из голубой слюды.

Гул вершин—высок и еле внятен.
 Синь кругом—без края и конца.
 Не узнать,—в игре теней и пятен,—
 В двух шагах любимого лица.

Жадно рот глотает влажный воздух.
 В поздний час над просекой лесной
 Все теплей, все ниже светят звезды...
 О, любовь! как ты чиста весной!

2.

Откуда боль и грусть такая?
 Я так ждала весенних дней...
 Но ропщет сердце, не смолкая,
 Что стало нищего бедней.

Я разлюбила грохот улиц,
 И толп людских веселый бег
 Больше ранит в этом гуле
 Воспоминанье о тебе.

Я так боюсь кому-то выдать
 Со дна души встающий страх.
 И жгучей кажутся обидой
 Улыбки на чужих устах.

А ночь придет—она не манит
 Сойти бродить под лунный свет,
 Пока в прохладе и тумане
 Тревожно дремлет Москва.

О, юность! поступью крылатой
 Лишь ты умеешь,—вновь и вновь,—
 Переступить через утраты,
 Через разлуку и любовь!

3.

Бывало — юности и маю
 Весь трепет сердца я несла...
 Но и теперь тебя встречаю
 Я с прежней радостью, весна.

Хоть ты тридцатая по счету,—
 Что нужды плакать и вздыхать?
 Ведь дряхлый мир еще охоту
 Не потерял благоухать!

Еще в игре теней и света
 Прекрасны небо и земля,
 И сладок сок зеленых веток,
 И серебристы тополя!

И я все та же!..—чуть покорней,
 Да позрелей... да погрустней...
 Седая прядь меж прядей черных
 Мне лишь привиделась во сне!

ВЕРА ИЛЬИНА.

Год двадцатый.

Сумбурный дождь и радостные лужи,
 На Малой Бронной мертвые дома.
 Сумбурный дождь, трущобный старый ужас
 И жажда жить, итти и понимать.

Вот эта ночь! Вот это год двадцатый!
 На Малой Бронной дождь и чернота,
 А завтра мне... А завтра за расплатой—
 Осенний фронт шинелью подметать.

Сумбурный дождь и пьяных листьев ропот,
 Ухабы, кочки, полночь, пустыри
 И последним отблеском Европы
 На площади плохой фонарь горит.

Вот эта жизнь! Вот эта кровь и нервы!
 Дни голода и холода, когда
 Хотел я жить, ползти и падать первым
 В пальбу, в теплушку, в рыжие года.

Звезда и шлем, звезда и ночь и слякоть,
 Казачья шашка, церкви и Арбат.
 Последний раз под полушубок лягу
 В каморке, нагруженной, как арба.

В последний раз шкафы и дым махорки,
 Кружась винтом, падут в дремоту,—но
 Польются сны и будет Ленин зорко,
 Прищурясь, мерить хаос за окном.

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ.

В е к.

Я прошлым летом на границе был
И оглянулся на Россию.

Да! Этот день мне сердце напоил
Ржаной бунтующею силой.

Вот, вот она,
Разубранная в лоск,
Вздыбленная и грозная на славу.
Мы бросили
На слом,
На снос
Уже ненужную державу.

Россия новая —
Еще пока мала...
Пустынным детством пахнут сенокосы...
Сквозь чернозем Россия проросла,
Как зуб из-под припухлых десен.
Меня мамуля поздно родила...
Я не прощу ей это опозданье!
Меня манил из отчего тепла
Грозовый жар рабочего восстанья.
С котеночком я дрался под столом,
Когда дрались
Под Перекопом,
И мне, как дальний берег, незнаком
Размытый чернозем окопов.
Разгульный век!
Разгульные дела!
Ни дать ни взять —
„Медовый месяц“,
Но вот и бухгалтерия пришла:
Рассудочными стали песни.
Из ветреных сорви-голов
Мы превратились в геометров.
Мы променяли нежный пламень слов
На холод цифр,
На холод метров.
Мы строим крепкие на диво этажи
На диво крепкими руками —
И стали
Партизанские ножи
Послушными хозяйскими ножами.

Восстание на броненосце „Потемкин“ *).

(Воспоминания Х. Раковского).

Восстание.

Князь Потемкин Таврический», первый броненосец в мире, поднявший красное знамя, составлял наиболее крупную боевую единицу русского черноморского флота ¹⁾.

Выстроенный по типу «Трех Святителей», он превосходил артиллерией, машинами, снабженными электрическими моторами, и, наконец, более толстой броней. Его начали строить, еще в 1899 году, на верфи в Николаеве, а окончили и спустили на воду только в 1904 году, в октябре; работы по вооружению продолжались до настоящего, 1905 года. В мае месяце будущий революционный броненосец делал первые опыты стрельбы; настоящее же артиллерийское испытание было назначено в июне месяце, в бухте Тендер. Здесь, на скалистом пустынном острове, естественные батареи и валы должны были служить точкой прицела для артиллерийских упражнений «Потемкина». Специальными экспертами на этот случай были присланы поручик артиллерии от военного министерства и подполковник—представитель казенного металлургического Обуховского завода, где были отлиты пушки. После испытания, «Князь Потемкин» должен был присоединиться к Севастопольской эскадре и сейчас же отплыл на большие маневры, происходившие ежегодно, в одно и то же время, в бухте Тендер.

Отплытие броненосца было назначено на воскресенье 12 июня. Действительно, в этот день, в 2 часа пополудни «Кн. Потемкин» сделал запас из 2000 как боевых, так и учебных снарядов, для опытов, снялся с якоря, медленно поплыл по рейду среди остальных судов и вышел из порта, салютая и сигнализируя по всем правилам. Вышедши в море, он сперва обогнул высокие живописные скалы Севастополя и, развив в машинах нормальную скорость, пошел по направлению к Одессе, где и находилась вышеупомянутая бухта. Волнение, шум и суета, сопровождавшие отплытие парохода, сменились пол-

¹⁾ «Князь Потемкин» длиной в 113 метров, шириной в 22 метра, имеет водоизмещение в 12.500 тонн и максимальную скорость в 16 узлов. Вооружение его состоит из пяти минных аппаратов и 48 пушек, из них 4 в 305 мм. и 12 в 160 мм.

*) Окончание. См. № 9.

ной тишиной. Вахтенный офицер стоял на мостике; командир судна пошел в адмиральскую каюту, часть офицеров отправилась спать в свои каюты, другая часть оставалась в кают-компани, где стояло пианино, для любителей музыки. Матросы делали тоже самое. Кто был дежурный ночью, пользовался, по своему усмотрению, свободным временем; товарищи, занятые днем, работали каждый на своем посту. В плавающем судне работа, главным образом, если не исключительно, сосредоточена на машинном отделении. И на «Потемкине» машинное отделение, в некотором роде, играло роль революционного клуба. В данный момент в клубе царил необычайное оживление. К повседневным делам матросов-механиков прибавились дела другого рода. Накануне отъезда, к потемкинцам явились гости—товарищи с «Екатерины II» и «Синопа»; они хотели узнать мнение матросов насчет восстания. С тех пор как определился план последнего, происходили частые совещания между революционерами заинтересованных судов. Здесь продолжали обсуждать средства и меры к восстанию уже решенные на собрании центрального комитета матросов, где кроме последних, присутствовали и представители севастопольского соц.-демократического комитета. Один темный пункт всех сильно беспокоил: как будет держать себя «Князь Потемкин»? На броненосце было, конечно, многочисленное ядро преданных революционеров; но большое число новобранцев, находившихся на судне, внушало серьезные опасения. Нужно заметить, что на совершенно новом судне экипаж состоял, большей частью, из матросов первого года, недавно явившихся из городов и деревень и еще «мало обработанных». Поведение «Потемкина» имело большое значение; если бы он отказался от восстания оно почти наверняка окончилось бы неудачей. Все броненосцы, вместе взятые, исключая «Трех Святителей», не стоили одного «Потемкина». Чтобы в этом убедиться, достаточно знать, что его 305 мм. пушки, благодаря усовершенствованному механизму, могли давать шесть ударов в минуту, между тем как пушки на других броненосцах давали один выстрел в течение семи минут. Матросы-революционеры на «Потемкине» не разделяли, однако, опасений товарищей; двое из них—Звенигородский и Резниченко, с согласия товарищей, отправили письмо в севастопольский комитет, предлагая ему дать сигнал к восстанию уже в первые дни морских маневров. Соц.-демократический комитет, после совещания с центральным комитетом матросов, советовал отложить восстание до конца маневров и употребить время пребывания в Тендере на усиленную пропаганду среди матросов. Такое же мнение высказывали матросы с «Екатерины II» и «Синопа», явившиеся на «Потемкина». После долгих разговоров единогласно постановили, что революционный комитет «Потемкина» созывает на Тендере, в лесу, общее собрание матросов. Если оно выкажется за ближайшие действия, то будет выбран день для восстания. Решение будет сообщено другим судам, когда «Потемкин» 15 июня придет в Севастополь, чтобы забрать с собою остальную эскадру. Здесь следует заметить одну черту из психологии матросов. Я говорю о духе соревнования между экипажами различных судов, который оказал, вероятно, некоторое влияние на ход дальнейших событий. Матросы, как и весь мало культурный народ, не зная жизни, не имея политического воспитания, отличались большим простодушием. Их поступками часто руководили самые непосредственные чувства. Что в них было особенно сильно, это—корпоративное самодлюбие. Матросы «Потемкина», быть может, с некоторой завистью относи-

лись к факту, что комитет избрал, для поднятия восстания и руководства им, броненосец «Екатерину II», считая его наиболее революционным. Они требовали себе эту честь, тем более, что на общем собрании, 23 апреля, некоторые матросы других судов предложили «Потемкину» выступить первому. Но, так как по случаю дождя, много матросов не явилось на это собрание, устроенное под открытым небом, то вопрос остался нерешенным. Потемкинцы, однако, обещали товарищам других судов не начинать, пока не будет принято определенное решение.

Об этих вопросах шел разговор среди механиков—самой передовой и сознательной части матросов. Здесь подвергался новой обработке план восстания, столько раз уже дебатированный и обсужденный. Вопрос, как держать себя с офицерами, был важнее всех для матросов-революционеров,—как мы уже упомянули в предыдущей главе. Все отлично понимали, что как только сигнал к восстанию будет дан с «Екатерины II» первым делом придется избавиться от офицеров. Но какими путями? Здесь мнения расходились. Одни, преимущественно штундисты, хотели во что бы то ни стало избежать кровопролития; они советовали просто арестовать все начальство. Другие, и среди них Звенигородский,—один из наиболее влиятельных членов комитета,—говорили, что революция не обходится без жертв. Во-первых, они предусматривали, что сопротивление со стороны офицеров заставит прибегнуть к оружию; во-вторых, они думали, что убийство двух или трех, наименее популярных из них, толкнет к восстанию и самых нерешительных матросов, привыкших дрожать перед начальством¹⁾.

Все другие пункты плана восстания, исключая времени и места, были разработаны всесторонне. Выбрали уже начальников—старшин на различные роды служб. Сговорились насчет сигналов: первым сигналом удачного восстания будет красное знамя, водруженное на месте андреевского флага. Другой вопрос, сильно заботивший будущих повстанцев, это—место и роль каждого из восставших судов. Так, учебное судно «Прут» должно было организовать десант, чтоб овладеть артиллерией севастопольской крепости. Это только в том случае, если восстание будет об'явлено при возвращении эскадры с общих маневров. В разговорах матросов высказывались и обсуждались предположения всякого рода, взвешивались все шансы на успех. С серьезных вещей переходили к обычным предметам, к рассказам о повседневной жизни в казармах. Некоторые факты, передаваемые сильным, выразительным народным языком, вызвали среди матросов, взрыв смеха. Вот история с матросом учебной команды, который при меньшей находчивости был бы пойман на месте преступления за революционную пропаганду. У него явилась гениальная идея налепить на поверхности своего сундука полдюжины портретов царей и царей, генералов и адмиралов, и несколько святых православной церкви; наверху он положил аккуратно несколько брошюр знаменитого чудотворца, о. Иоанна Кронштадтского, а совсем внизу, под бельем он спрятал революционные брошюры. По доносу фельдфебеля Тышевского, следившего за матросами, капитан Шперлин сделал у вышеназванного матроса обыск, но, как только он увидел у него столько признаков монархическо-религиозных чувств, он опустил крышку сундука и не стал в нем рыться. За этой историей, шли другие. Ожив-

¹⁾ Показание Федора Ковалева, матроса-механика.

ленные разговоры, изредка прерываемые появлением боцмана, неустанно раздавались в раскаленной душевой атмосфере, наполненной специфическим запахом угольного дыма и перегоревшего масла.

Море было тихо и гладко, и таким оно оставалось в продолжение достопамятной крейсировки броненосца. В понедельник утром, 13 июня, подходили к острову Тендер. В тот же день, в 1 час пополудни, миноносец № 267, временно прикомандированный к броненосцу, поднял якорь и отплыл в Одессу, под командою поручика Клодта; за ним уехало за провизией и несколько матросов с «Потемкина», во главе с лейтенантом Макаровым. Возвращаясь вечером, в 10 часов, они в темноте наткнулись на лодку и потопили ее; владельцы ее, рыбаки, были, к счастью, спасены. С естные припасы были переправлены на борт судна; мясо было подвешено на высокое и прохладное место, на спардеке; а дежурные матросы стали помогать поварам чистить картошку и капусту для завтрашнего супа. При этом матросы, сопровождавшие Макарова, рассказали товарищам, что в Одессе происходит всеобщая забастовка, и, благодаря этому, они могли купить только часть необходимой провизии. Во вторник, в 5 час. утра, матросы, как обычно, уже были на ногах. Один из них, обратив внимание, что мясо издает сильную вонь, позвал товарища. «Ведь оно кишит червями», заметил матрос поближе рассмотревши кусок мяса. Шум быстро разнесся по всему судну, и через несколько минут вокруг мяса образовалось тесное кольцо. Посыпались всевозможные комментарии. «В Японии русских пленных лучше кормят, чем нас», заметил кто-то. «Я этого мяса не дал бы собаке», вставляет другой, презрительно поворачиваясь спиной. В это время подходит кондуктор и, скрестив руки, сердито говорит: «Как, ваши товарищи в Порт-Артуре ели собачье мясо, а вы говядиной недовольны?»—«Да разве здесь Порт-Артур?» возразили несколько матросов сразу, и жестокие обвинения, сопровождаемые меткой, энергичной бранью, которой так изобилует русский язык, посыпались по адресу офицеров, и особенно, лейтенанта Макарова. Сходка, собравшаяся в необычное время, становилась все больше и привлекала внимание вахтенного офицера. Он пошел предупредить команданта Голикова. Спустя несколько минут, последний, в сопровождении старшего врача, явился на палубу. Врач подошел к мясу, важно надел пенсне и, как военный врач, привыкший дисциплину ставить выше здоровья матросов, заявил строго: «Это ничего не значит, время летнее. Мясо хорошее; достаточно его помыть соленой водой и удалить места, где завелись черви»... Об'яснение, данное человеком науки, вызвало ропот среди матросов. Голиков окинул их гневным взглядом. «Расходитесь!» скомандовал он. Матросы расходились медленно. «Я повторяю: расходитесь!» Дневальному Голиков приказал стоять возле мяса и записывать фамилии тех, кто будет приходить его осматривать. И народ, собравшийся со всех помещений броненосца на спардеке, вернулся к обычным делам. За работой матросы оживленно обсуждали только что происшедший инцидент. Недовольство было сильное. Поведение врача, его слова, его ответы, речи и жесты Голикова,—все это вызывало самые неучтивые толки об обоих офицерах. Со свойственным им недоверием, матросы решили, что эти господа раньше сговорились между собой, и осмотр мяса был просто комедией. Отчасти, это было справедливо. Врач хотел угодить Голикову; последний старался быть строгим, чтобы не позволять матросам «капризничать». Настоящий солдат должен есть все, что начальство сочтет нужным ему предложить. А раз он

испорченную пищу находит дурной, то это признак скверный: в нем пошатнулась дисциплина. Вполне понятно, почему Голиков остался бы крайне недоволен, если б врач стал на сторону матросов. Всякое соглашение между врачом и комендантом было излишне; оно естественно вытекает из психологии каждого из этих господ в отдельности. Мясо, которое сторожил дежурный, было назначено для следующего дня; другая половина уже варилась в котле, куда была брошена прежде, чем матросы подняли историю с мясом. Но если мясо сегодня никуда не годится, то каково оно будет завтра? На этот вопрос матрос Рыжов ответил немного наивно, но вполне резонно: «До завтра число и величина червей еще увеличатся». Все были согласны, что это оскорбление и вызов, которых нельзя оставить без заслуженного ответа. Пришли к такому заключению: никто не должен дотронуться до супа. Матросы, у которых есть деньги, купят себе провизии в судовой лавке, другие будут есть сухой хлеб и воду. «Супа мы не желаем. Если он нравится Смирнову и Голикову, пусть они его сами едят». Вот лозунг, который с быстротой молнии облетел весь бак и ют.

Кто внушил эту мысль?

Матросы-революционеры не пропускали ни одного подобного случая, не воспользовавшись им для агитации против «начальства». Они даже сами вызывали иногда столкновения, в которых революционеры мерились силой с офицерами. Понятно, что инцидентом с гнилым мясом они так же воспользовались, как только узнали о нем, и стали во главе протеста. Зная, что близок час решительного шага к восстанию, они хотели во что бы то ни стало избежать острого конфликта с командиром. Результатом будет только репрессии, арест наиболее влиятельных из матросов; словом дезорганизация революционного дела на «Кн. Потемкине» на неопределенное время. С другой стороны, оставить без протеста такой возмутительный факт было бы равносильно трусости и отказу от роли бесстрашных защитников матросов в столкновениях с начальством. Теперь, накануне восстания, революционеры-матросы более чем когда-либо, старались удержать свой престиж и влияние в глазах новобранцев, еще молодых и могущих легко подпасть деморализующему воздействию начальства. Взвесив все обстоятельства, революционеры остановились на промежуточном решении: отказаться от супа, не устраивая в то же время «голодной стачки». Впрочем, все матросы были настолько возмущены несправедливым обращением, что обещали немедленно и беспрекословно повиноваться данному лозунгу. То, что мы говорим, относится не только к матросам рядовым, но и ко всем нижним чинам: фельдфебелям, помощникам машинистов и кондукторам, которые, обычно, заедали матросов. Один из последних, напр., остановил матроса Козленкова, не без брани и угроз, в обнаруженном им намерении есть суп, несмотря на принятое решение ¹⁾. Когда час завтрака настал, никто не пошел за своим баком (чашкой). Столы оставались пустыми. После первого сигнала для раздачи водки, многие матросы уже начали завтракать, когда раздался второй свисток, звавший их в 11 час. за супом, они уже кончили есть и требовали у повара Давилюка приготовить им чай.

Так началась потемкинская драма.

¹⁾ Показание Козленкова, матроса с парового катера броненосца.

Прежде чем идти дальше, нужно заметить, что подобный случай не первый на русском военном судне. Матросам «Потемкина» была известна история на крейсере 1-го ранга, «Везинге», происшедшая в июле 1903 года, когда он возвращался из Сухума в Севастополь. Причиной и там было тухлое мясо, 5 дней висевшее на солнце и полное червей. Судовой врач Золотарев назвал его «очень питательным». Матросы собрались на палубе и, громко крича, стали требовать офицера Коскова, заведывавшего снабжением провианта.

Вахтенный офицер старался успокоить матросов, но на все его увещевания они отвечали: «Дайте нам хлеба, мы голодны, мы хотим есть». Иные, разрывая рубахи и обнажая грудь, иступленно кричали: «Прикажите нашим братьям застрелить нас». В это время мимо них проходило пассажирское судно «Пушкин». Как только матросы заметили его они начали делать знаки, чтобы он остановился и кричали: «Пушкин» дайте нам хлеба, мы голодны, мы хотим есть... Когда они, наконец, пригрозили «Открыть кингстоны» и утопить судно, комендант формально обещал исполнить все их требования и тотчас послал офицера за новой провизией.

История этого голодного бунта невольно вспомнилась «Потемкинцам»; они говорили о ней громко.

Ни одно движение матросов не ускользало от бдительности коменданта и вахтенного офицера Левенцова. Последний лично потребовал суп, и, на вопрос командира, каков он, ответил: «Превосходен!» и сожалел, что болезнь горла не позволяет ему съесть больше.

Вахтенный офицер продолжал и дальше усердствовать. Как только он заметил, что матросы не берут своих чашек, он тотчас же доложил об этом офицеру, а тот—командиру. Несколько минут спустя, Голиков уже был на юте и, иезуитски недоумевая, справлялся на кухне о причине отказа матросов. «Матросы не хотят есть супа из-за червей...—ответил повар Денлюк:—они требуют масла и чаю».—«Созвать всех, всех без исключения». Левенцов приказал барабанщику бить к общему сбору.

Здесь начинается второй акт нашей драмы. События идут логической цепью, одно за другим, пока не разразилась катастрофа со всеми последствиями. На командира ложится всецело полная ответственность за поступки, жертвой которых пали он сам и другие офицеры. На деле, матросы воспользовались вполне законным правом. Они отказались лишь есть вызывавший отвращение суп, что сделал бы всякий на их месте, из опасения захворать. Нужно ли упоминать, что это делалось без шума и скандала.

Но как поступил комендант? Вместо того, чтобы сделать выговор офицеру Макарову, купившему мясо и выслушать основательную жалобу матросов, постаравшись их успокоить, он думал силой заставить их есть этот суп—подавить в них естественное физическое отвращение к испорченной пище, которого матросы не могли бы побороть. Голиков прежде всего был офицером русской старой школы, считавшим всякую уступку матросам подрывом авторитета и дисциплины. Он дорого заплатился за преданность устарелым принципам милитаризма.

Через несколько минут, все матросы, исключая тех, которые не могли бросить машины, выстроились в несколько рядов по бортам юта: налево—матросы дневной смены, направо—ночной. Старшие утгер-офицеры, фельдфебели, кондуктора,—все стояли на своих местах, рядом с матросами. На минуту исчез-

нувший командир, появляется, становится на козлы, окруженный двумя врачами и всеми офицерами, исключая механиков, обедавших в каюте, и обращается с речью к матросам: «Вы, кажется, недовольны супом? Хорошо, я запечатаю чашку с этим супом и отправлю в главное управление в Севастополь, но предупреждаю вас, что ничего хорошего для вас не выйдет. Я говорил уже вам и повторять не буду, что ждет матросов, забывших дисциплину. За это вашего брата вон там вешают... И он пальцем указал на фок-мачту. При последней угрозе, матрос Борчан, стоявший в задних рядах, отпустил по адресу коменданта: «тпру!»... как будто, он хотел остановить слишком зарвавшуюся лошадь. «Что ты делаешь, дурак?—сказал ему сосед Матющенко:—ты нас всех подвергаешь опасности». Комендант на минуту остановился, наблюдая впечатление своих слов, а затем продолжал: «Пусть те, которые согласны есть суп, станут сюда».

Кондуктора и двое-трое унтер-офицеров выступили вперед; остальные матросы, унтер-офицеры и фельдфебели, остались на местах.

«Ну-ка, ну-ка, спешите и вы!»—кричал рассвирепевший командир. Никто не трогается. Из задних рядов раздавался ропот и протесты.

«Ешь сам, дракон!»—заметил кто-то. Замечания делались тихим голосом и не доходили до ушей коменданта, но последнему и без того было слишком ясно, что матросы решили оказывать пассивное сопротивление. «Ага, вы не желаете повиноваться? я вам покажу! Виночники от меня не уйдут...»¹⁾ Пронзительным, резким голосом он отдал приказ вызвать караул. Среди матросов началось общее движение. «Бесполезно упорствовать», заметили некоторые. «Выйдем из рядов и пойдем все в сторону башни»,—сказал Матющенко и один из первых сделал несколько шагов к башне, окружавшей двенадцатидюймовые орудия. Все последовали его примеру. С левой стороны уже не оставалось никого; на правой стороне было еще человек 20—30 из задних рядов, не успевших присоединиться к товарищам.

Но в этот момент произошло событие, с которого начинается третья фаза конфликта. Старший офицер Гиляровский, наблюдавший внимательно, стоя рядом с Голиковым, вдруг отдал приказ оставшимся матросам не трогаться с места. «Нет, уже достаточно, оставайтесь здесь»,—кричал он и, чтобы приказ его был исполнен, он вместе с вахтенным офицером Левенцовым заградил им дорогу. Гиляровский, вероятно, действовал по приказу командира, но он мог так поступить и по собственной инициативе. Вернувшись всего несколько месяцев тому назад с Дальнего Востока, где он участвовал в сражении при Чемульпо, Гиляровский, за кратковременное пребывание на броненосце, обнаружил грубость, властолюбие и крайнее честолюбие. Он арестовал на три дня матроса, донесшего на своего товарища Фурсаева (история с прокламацией) за то, как мне говорили матросы, что он сделал донос прямо командиру, а не ему, старшему офицеру²⁾. В разговорах с офицерами он, однако, либеральничал, браня «неспособных», доведших Россию до полного расстройств. Он даже обещал, после окончания войны и поражения японцев, самому отправиться в Петербург с топором в руках³⁾, чтобы наказать министров. Либерализм его

¹⁾ Показание Шестидесятого, члена Революционного Комитета; заметки Матющенко и проч.

²⁾ Показание Резниченко, члена Революционного комитета.

³⁾ Слова, переданные офицером-механиком Коваленко.

был чисто показным: в своих отношениях к матросам он был офицер, требующий от подчиненных слепого, бесприкословного повиновения. Поэтому, весьма вероятно, что Гиляровский, по собственной инициативе задержал 30 оставшихся матросов, желая превзойти усердием самого командира. Как бы то ни было, последний помогал ему в охоте за матросами. Когда некоторые из них хотели убежать через люк, ведущий в адмиральскую каюту, находящийся вблизи того места, где происходила сцена, Голиков стал возле люка, не пропуская никого и крича: «Назад, этот вход не для вас...¹⁾». Нужно прибавить, наконец, что как Голиков, так и Гиляровский руководствовались вполне определенным мотивом, действуя так, не иначе. Мотивом, объясняющим их дальнейшее поведение, было желание непреклонной строгостью искоренить дух непокорности и мятежа, охватывавший весь экипаж. Эту идею настойчиво проводили оба офицера. Инцидент с мясом являлся желанным случаем. С сожалением охотника, у которого из-под рук ускользнула добыча, они смотрели, как разбивается их план о внезапную покорность матросов. Желая все же дать поучительный пример, они решили случайно оставшихся матросов сделать жертвой распатанной дисциплины.

Караул, состоящий из 27 матросов, уже был на юте. «Окружите их», — приказал Гиляровский, указывая на кучку матросов. Понимая низкую роль, которую ему навязали, караул подвигался нехотя. «Я повторяю, окружите их!» Приказания возбужденного старшего офицера звучали тревожно и зловеще. «Прапорщик Левенцов, спросите их имена. Боцман, велите принести брезент». Брезент на военных судах является саваном для приговоренных к смерти.

Решил ли Гиляровский итти до конца, или думал сыграть комедию, чтобы напугать матросов и заставить их выдать «зачинщиков», — этот секрет он унес с собой в могилу. Матросы не имели времени исследовать, что было на душе этого безумного человека. Вдали от всякого человеческого общества, куда они могли бы апеллировать, одинокие среди огромной водной пустыни, они могли ожидать всего от начальства, которому варварские законы давали полную власть распоряжаться жизнью подчиненных. И ужасная, близкая смерть встала перед их испуганными глазами. Еще минута и поднимутся ружья, раздастся сухой треск; они будут расстреляны и выброшены за борт, в море. На судне, как и в воздухе, царила гробовая тишина; это продолжалось секунду. «Братья, отчего вы нас покидаете?»... — крик отчаяния, вырвавшийся у матроса Вакуличука, потряс матросов, собравшихся вокруг башни. Воздух наполнился ропотом, протестами, восклицаниями. «Они хотят их расстрелять. Мы не должны этого допустить. Довольно терпеть!» Несколько матросов скрылись через вход в центральную батарею.

Бунт только начинался. Гиляровский, желая, быть может, его предупредить, приказал стрелять. Здесь произошел факт, решивший едва начатую борьбу в пользу революционеров. Караул отказался стрелять. Матросы не хотели поднять руку на товарищей, с которыми их соединяло чувство солидарности, и с которыми они до сих пор делили и радости и горе. Трагическая судьба приговоренных к смерти товарищей могла ведь постигнуть и их самих. Мятежный дух, охвативший весь экипаж, заразил их. Со всех сторон раздавались

¹⁾ Показание Денисенко.

крики: «Не стреляйте, это ваши братья! Не стреляйте!». Громче всех кричал матрос, артиллерист Вакулинчук, стоявший во главе окруженной группы. Григорий Вакулинчук — старший унтер-офицер, был в глазах начальства «негодяем». Несколько раз он был наказан за смелые ответы на замечания начальства. За несколько дней до снятия с якоря судна между ними Гиляровским произошел горячий спор, в пылу которого он угрожающе произнес: «О, это скоро окончится!»... Вакулинчук, конечно, имел в виду восстание. ¹⁾ Гнев Гиляровского достиг высшей точки, когда он увидел перед собой того самого Вакулинчука, обращавшегося к матросам возле башни с явным призывом к оружию.

— Ага, ты тоже не хочешь супа?

— Разве можно есть такую гадость?

Два человека пронизывали друг друга взглядом, измеряя всю глубину взаимной ненависти.

— Стреляйте! — скомандовал еще раз Гиляровский.

— Не стреляйте, мы братья!... — произнес Вакулинчук, делая движение головой ²⁾.

Караул стоял, не поднимая ружей.

При новом отказе ожесточение Гиляровского превратилось в безумие. Он бросается на ближайшего матроса караула Горчака, и пытается отнять у него ружье. Когда это не удается, делает вид, что вынимает револьвер из кармана, затем снова бросается к караулу и опять безуспешно; опять берется за револьвер, которого, вероятно, у него не было, или он был не заряжен. Только в третий раз Гиляровскому удается вырвать ружье из рук молодого новобранца. Вся сцена продолжалась лишь несколько минут. Вакулинчук успел решиться на крайний шаг. Со словами, произнесенными на малороссийском наречии: «До каких же пор мы будем рабами?», хватает ружье одного из караульных и исчезает позади оружейной башни. Гиляровский бежит за ним. Но прежде, чем он его догнал, до ушей офицеров, матросов и стражи долетает ужасный шум, крик человеческих голосов, стук прикладов об пол. «Кто мутит там матросов?» — кричит командант Голиков. «Я знаю, это — каналья Матющенко!» — отвечает Гиляровский, и исчезает за башней, преследуя Вакулинчука.

Бунт в полном разгаре. Наступает четвертый, решающий акт Тендоровской драмы. Он начинается одновременно на юте, где Вакулинчук первый берет в руки оружие, и в центральной батарее.

В то время, когда Вакулинчук крикнул матросам, стоявшим близ башни: «Почему вы нас покидаете?» несколько человек, с Матющенко во главе, вошли в центральную батарею, где находились пирамиды с ружьями. При возгласах: «К оружию! Довольно терпения! наших братьев расстреливают. Долой тиранов! Да здравствует свобода!» часть матросов разобрала ружья, другая пошла ломать двери в патронные погреба, чтобы достать патроны. Матющенко с ружьем в руках выходит на ют, но, не имея еще патронов, он останавливается при входе в центральную батарею. Офицеры еще надеялись подавить бунт. Полковник артиллерии Неупокоев ходил с одного конца юта на другой и кричал: «Всех их под суд, всех!»... Командир Голиков приказал маленькой группе безразличных матросов, которые оставались на юте, заявлять свои имена вахтен-

¹⁾ Показание Шестидесятого.

²⁾ Показание матроса-кочегара Рыжова.

ному офицеру Левецову, «чтобы не смешать их с бунтовщиками». Затем он направился с другими офицерами ко входу в центральную батарею, чтобы рассеять матросов. Здесь он столкнулся с Матющенко, который с ружьем в руках охранял вход, ожидая патронов. «Чего ты хочешь, сумасшедший? Брось винтовку!»...—крикнул командир. «Никогда, пока я жив!»—«Бросай оружие, я приказываю!» «Убирайтесь, броненосец уже не ваш; он принадлежит нам, он принадлежит народу». И Матющенко сразмаху бросил в командира снятый с винтовки штык. Пролетев мимо, штык вонзился в пол в нескольких шагах от Голикова. Тогда Матющенко бросился на него с прикладом. Голиков увернулся. От удара о палубу ружье разлетелось вдребезги. Взять другое ружье в центральной батарее и возвратиться снова на ют было для Матющенко делом одной минуты. Вдруг на адмиральской лестнице появилось приведение, одетое в черное. Это поп Пармен, державший в руках серебряный крест и поднимающий его к небу. «Мир с тобою, мой сын!»—«Убирайся, халдей, убирайся, пьяница!».. И Матющенко замахнулся на него прикладом ружья. Поп бросил крест, запутался в рясе и упал на пол.

Получив патроны, Матющенко первым выстрелом убил старшего артиллерийского офицера Неупокоева возле адмиральского люка. Его тотчас же выбросили в море ¹⁾.

Старший офицер Гиляровский догнал Вакулинчука позади башни, в левой части судна. Прежде чем Вакулинчук успел защититься, пуля попала ему прямо в грудь. Раненый, истекая кровью, он бросился на Гиляровского, вырвал у него ружье. Выстрелить он не успел—упал, обессиленный. Желая избежать второй пули, а может быть, под влиянием боли, он сделал сверхчеловеческие усилия, дополз до борта и бросился в воду ²⁾. Матрос Валобуев быстро спустился по лестнице в воду и вытащил своего товарища ³⁾.

Матющенко встретил Гиляровского в тот самый момент, когда он, выстреливши в Вакулинчука, снова вернулся на ют. Не теряя времени, он выстрелил в него, но промахнулся. Гиляровский тоже выстрелил в Матющенко и тоже—мимо. В бешенстве он кричит страже у лестницы слева: «Застрелите мне эту каналью!» Испуганный матрос бросил ружье и убежал. Гиляровский поднял заряженное ружье и, забывая на минуту своего главного врага, стреляет в стражу. Прежде чем раздался выстрел, пуля поражает его в спину, и, смертельно раненый, Гиляровский падает на пол. Думая, быть может, что рана не опасна и, рассчитывая, что выстрелив, матрос постарается убежать, не встретив сочувствия в остальных матросах, или просто по привычке офицеров действовать угрозами, хотя бы и бессмысленными, Гиляровский обратился к Матющенко с следующими предсмертными словами: «Ага, я тебя знаю, каналья! Ты убежишь теперь на сушу, но я сумею тебя найти». Матющенко возразил: «Ты не успеешь, болван. Я отправлю тебя юнгой к Макарову ⁴⁾». Подобно Неупокоеву, Гиляровского выбросили за борт.

¹⁾ Записки Матющенко. В новом рассказе об этой сцене он дополнил свои первые воспоминания.

²⁾ Показания Сергея Головлицкого, матроса, находившегося на мюносце № 267, откуда можно было видеть всю сцену.

³⁾ Показание Валобуева.

⁴⁾ Адмирал Макаров, погибший на броненосце „Петропавловск“ у Порт-Артура.

Убеждение Гиляровского, что к этому самоуправству нескольких матросов остальные не посмеют присоединиться, разделялось, очевидно, всеми офицерами. В то время, как происходила возле башни вышеописанная сцена, вахтенный Левенцов, старший врач Смирнов и другие, с револьверами наготове, подходили к каждой группе, к каждому матросу из караула и грозили убить, если кто тронется с места. В этот момент раздался ружейный залп со спардека, куда успело подняться человек 20 вооруженных матросов.

Тогда офицеры, кондуктора, унтер-офицеры, часть матросов и караульные бросились, невзирая на опасность, по адмиральской лестнице, через пушечные амбразуры, чтобы спастись в нижней части броненосца. Другие, схватив спасательные круги, прямо бросились в море. Самые смелые, наконец, взяли из козел оружие и присоединились к восставшим товарищам. Секунду спустя, ящики с патронами были на юте. С неистовством матросы бросились к ним и ножами, штыками и просто руками—у Фурсаева руки были в крови и ободраны о железо ящиков с патронами—открывали жестяные крышки. Через несколько минут бунт охватил все части судна—страшный, неуправляемый ураган, грозящий все поломать и все снести на своем пути. Революционные возгласы сливались с криками мести. На ряду с возгласами: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» раздавалось: «Бей их, хамов! Всех офицеров!» Все страдания и унижения,—все, что довело матросов до этого взрыва,—ненависть, злоба, презрение к своим офицерам,—все теперь вырвалось в диких, кровавадных криках, взывающих о мести. Вопли наполнили воздух, и среди них изредка раздавались ружейные выстрелы. Стреляли по всем направлениям, но больше всего в воду, куда бросилось много офицеров и матросов, стараясь спастись на миноносце или на деревянный щит. «Офицеры! где офицеры? Подайте нам офицеров!..»—кричали со всех сторон, и матросы небольшими группами ходили разыскивать начальство.

«Не нужно мстить в одиночку!—кричали более влиятельные:—нужно вывести офицеров на ют и судить их в присутствии всего экипажа».

Среди этого шума появляется поручик Вильгельм Тон. «В воду его, в воду!»—кричат матросы. Но офицер делает знак, что он хочет говорить, —бушующая толпа внезапно утихает. Тон считался офицером умным, энергичным, справедливым, хотя и строгим, и был уважаем большою частью матросов. Матросы замолкли и стали его слушать. «Я с тобой хочу говорить»,—обратился он к Матющенко, который подвинулся к нему. Но потому ли, что он не верил добрым намерениям Матющенко, державшего в руках свое ружье, или потому, что считал его главарем движения, с устранением которого мятеж прекратится и матросы покорятся,—только вместо того, чтобы говорить, Тон поднимает револьвер и стреляет два раза в Матющенко. Первая пуля пролетела мимо и ранила в руку другого матроса, вторая оцарапала висок Матющенко¹⁾. Матрос, механик Шестидесятый, выхватил револьвер у офицера, но выстрел из ружья сделал предосторожность излишней. Тон был убит и выброшен за борт, как Гиляровский и Неупокоев.

«Где комендант? Нам нужно Голикова»,—послышались новые крики.

До сих пор совершенные казни носили характер случайный. Хотя тела трех офицеров лежали уже на дне морском, но истинный виновник, представи-

¹⁾ Заметки Матющенко.

тель гнусного режима, против которого восстали матросы, тот, который обращался с ними, как с дикими зверями и не далее, как утром, грозил им виселицей, был еще жив. Казнь Голикова представлялась матросам, среди которых он возбудил высокую ненависть, торжеством справедливости и символом их победы. В его лице они думали казнить весь режим. Вооруженные матросы рассеялись кучками в поисках за офицерами и, в частности, Голиковым. Несколько минут спустя звон разбитых стекол, грохот взломанных дверей, крики: «Долой драконов! Да здравствует свобода!» раздались из коридора где в два ряда были расположены офицерские каюты. Офицеров в них уже не было: им удалось спрятаться в других местах. Только старший врач Смирнов еще оставался в каюте и был убит здесь выстрелом в окно, матовое стекло которого было разбито. Эта казнь, нарушившая постановление не убивать офицеров без суда над ними, долго оставалась неизвестной главарям движения.

В то время, когда многие из матросов разыскивали начальство, раздались один за другим три взрыва, от которых затрясся весь броненосец. Долгое время их злое эхо повторялось в горных высотах пустынного острова. Это грела 47-мм. пушка, направив свой зев в миноносец № 267.

Близость его к восставшему судну была опасна. Как сказано выше, миноносец был прикомандирован к «Потемкину» на время плавания. Революционерам неизвестны были его намерения. Была возможна атака с его стороны. Недоверие еще увеличилось, когда кто-то, спасавшись вплавь с «Потемкина», был принят на борт миноносца и последний тотчас же начал удаляться от броненосца. Как после узнали, комендант мотивировал перед матросами отплытие желанием быть подальше от пуль взбуртовавшегося судна. Матросы-революционеры не без основания об'яснили от'езд намерением командира известить скорее о случившемся в Одессе и Севастополе. Они репили несколькими выстрелами из пушки остановить миноносец. Необходимые снаряды находились в специальном складе. Его быстро взломали, и матрос принес пять снарядов, из которых тремя бомбардировали миноносец. Желая лишь напугать его, выстрел направили дальше, чем находился миноносец. Последний тотчас же последовал приказанию броненосца и, повернув острый конец, где находились мины, к суше (в знак миролюбивых намерений), начал приближаться к броненосцу.

В это время группа матросов вела переговоры у дверей адмиралтейской каюты, куда скрылись Голиков и прапорщик Алексеев. Несмотря на настойчивое требование матросов, они не хотели впустить их, и только, когда начали ломать двери, Голиков сдался, видя бесполезность сопротивления. Обоих офицеров нашли совершенно раздетыми, готовыми броситься в море. Кorteж победоносных матросов, ведя пленных офицеров, направился по адмиралтейской лестнице на ют. Командир Голиков почувствовал свою судьбу; он читал ее в словах и на лице матросов, пришедших за ним, и перед ожидавшей его смертью совершенно потерял присутствие духа. Высокомерный, жестокий начальник умолял теперь тех самых матросов, которых он сегодня утром хотел расстрелять. «Старый дурак, что ты сделал со своими матросами?»—говорил он вслух. Увидев Матющенко, он бросается к нему на шею и сквозь слезы просит пощады: «Я согрешил перед всем экипажем; прости меня, брат мой!...»—«Я лично против тебя ничего не имею»,—отвечал тот: «как матросы решат...»—

«На нок командира, на нок, которым он грозил нам сегодня утром!»—кричали матросы, а он продолжал умолять. Вид дрожащего, жалкого старика не успокоил матросов... Толпа осыпала его упреками и бранью. Каждый перечислял ряд страданий, наказаний, несправедливостей, унижений, нанесенных ему Голиковым. Но крики: «Довольно, довольно ждать. Всадить ему пулю, которую он заслужил». Командира отвели на несколько шагов дальше, раздался залп. Труп Голикова выбросили в море.

«Пощадите меня, братья,—я такой же матрос, как и вы; у меня—жена и дети»—умолял матросов прапорщик Алексеев.—«Мы не тронем тебя, но обещай нас привести в Одессу»: Алексеев сейчас же согласился быть командиром судна. Но и без этого обстоятельства матросы не убили бы его—его любили за товарищеское отношение. Служивши раньше простым матросом, он хорошо знал их жизнь; ставши офицером, он выражал чувство солидарности матросам. Пощадили также двух наиболее ненавистных кондукторов, Лесового и Вурдюкова, известных злостью и грубостью. Матросы хотели казнить их, как Голикова, но оба кондуктора начали плакать. Прося у матросов прощения за «свои грехи», они обещали полное повиновение, если им оставят жизнь. «Пусть меня не зовут больше Лесовым, если я не буду во всем вас слушаться. Спасите мне жизнь, и я клянусь женой, детьми, что буду исполнять все ваши приказания»—говорил один из них. Вурдюков также умолял. «Оставим их,—посоветовали несколько матросов:—у нас всегда будет время наказать их, если они нам изменят». Обоих пощадили. После, однако, матросам пришлось раскаиваться в своем великодушии, так как оба кондуктора, преимущественно Вурдюков, стали во главе контр-революции.

Миноносец подошел к броненосцу. Через минуту два офицера, бывшие на нем—лейтенант борон Клодт, комендант миноносца, и лейтенант Макаров, убежавшие с «Потемкина», были на палубе броненосца. Их сопровождало несколько матросов. Желая спасти жизнь своему командиру, барону Клодту, они представили его, как очень доброго и мягкого начальника. Нужно заметить, что на миноносцах покупкой провианта заведывали сами матросы. Этим объясняется, что пища у них была лучше и мясо хорошего качества.

Матросы на миноносце, стоявшим всего в 10 метрах налево от «Потемкина», видели всю драму, происшедшую на нем. Они слышали приказание Голикова относительно караула. «Вот до чего дело дошло с такими начальниками»...—сказал по этому поводу барон Клодт:—«Что же делать теперь с матросами: арестовать их, расстрелять?»... Офицеры и матросы еще рассуждали об этом, когда услышали ясный и отчетливый крик: «Не стреляйте—они наши братья». Они увидели, что события принимают серьезный оборот. Перед их глазами разыгрывалась кровавая трагедия. Не знали, что делать. Через несколько минут они увидели человека, плывущего к миноносцу. Это был офицер Макаров. «Снимите с меня мундир»,—просил он, когда очутился на миноносце. Несколько матросов раздели его и дали свою блузу, так как под мундиром не оказалось ничего. Затем Макаров вынимает из мундира пачку вымокших банковых билетов и принимается их сушить¹⁾. Что было дальше читатель уже знает: миноносец хотел уехать и его остановили.

¹⁾ Показание Сергея Головлицкого.

Заступничество матросов спасло жизнь их командиру, но оно не помогло Макарову. «В воду лейтенанта Макарова, в воду!»—кричали со всех сторон.— «Довольно крови! Народу не нужно только крови!»

В первый момент борьбы на «Потемкине» под непосредственным впечатлением жестокости офицеров и приготовлений к расстрелу окруженных матросов, всеми революционерами овладело бешенство. Даже штундисты, эти поборники мира, которые на все увещевания Голикова отвечали, что никогда не будут убивать себе подобных, были охвачены общим вихрем и стреляли, не считая пуль. Несознательные матросы, видевшие в бунте только акт личной мести, вероятно, продолжали бы буйствовать и дальше, если бы не матросы сознательные, руководимые общей политической идеей. Они не думали, конечно, о личной ответственности, потерявшей всякое значение при таких обстоятельствах; они думали об ответственности перед делом, за которое хотели бороться. Для этого дела теперь, когда броненосец в их руках, когда главный преступник, Голиков, казнен, кровопролитие становилось бесполезным и даже вредным. Ведь это революция, а не мятеж. «Дело народа больше не нуждается в крови!» Крик был услышан. Казни прекратились, жизнь Макарова была пощажена, Удовлетворились арестом обоих в офицерской каюте, лишив их знаков отличия. Также решено было поступить с прочими офицерами.

Часть матросов пошла мыть палубу горячей водой, а другие продолжали разыскивать остальное начальство.

Здесь нам приходится возвращаться к началу драмы. Офицеры сидели уже за столом, когда старший офицер Гиляровский пришел доложить коменданту, что матросы не хотят есть супа. По этому поводу старший врач повторил то, что сказал уже утром, прибавляя, что это «простой каприз» со стороны матросов, если они отказываются от такого мяса, что «присутствие червей не указывает вовсе на его дурное качество»¹⁾.

Голикови Гиляровский вышли вместе. Через несколько минут, по приказанию коменданта, позвали на палубу двух врачей... При сигнале к общему сбору другие офицеры, исключая механиков и офицеров, прибывших из Петербурга, ушли из-за стола. Звук выстрела и падение тела скоро возвестили оставшимся, что наверху происходят серьезные события.

Раздавшиеся крики:—«Их всех нужно убить!»—указывали, что их жизнь в опасности. Быстро раздеваясь, они начали бросаться в воду. Первым бросился офицер Коваленко. Его примеру последовали два инженера Заушкевич и Харкевич и лейтенант артиллерии Григорьев, командированный военным министерством. Все четверо поплыли по направлению к деревянному щиту, находившемуся в ста метрах направо от судна. Ружейный залп, раздавшийся с палубы показал офицерам, что их бегство замечено. Лейтенант Григорьев, пораженный несколькими пулями, умер рядом с Коваленко. Он и двое других товарищей благополучно добрались до щита. Отдохнувши несколько минут, они решили взять доску со щита и с ее помощью добраться до отдаленного берега. «Механик Коваленко, механик Коваленко!»—кричали с броненосца. Коваленко встал на щит. «Вернитесь, вам ничего не сделают». Он направился обратно к судну. Два матроса в лодке под'ехали к щиту и забрали офицеров.

¹⁾ Показание офицера-механика Коваленко, отбывавшего воинскую повинность.

Коваленко не только любил среди машинной команды, но считали даже своим. Многие из них знали его передовые взгляды, не раз получая от него прокламации. Участвуя в «союзе офицеров—друзей народа» в Севастополе, который отчасти он сам основал, Коваленко думал служить делу матросов.

Когда все прибыли на судно, им об'явили, что бояться им нечего, что никакого насилия над ними совершенно не будет и что до окончательного решения матросов они будут находиться под арестом в офицерской каюте. Их просили снять свои знаки отличия—на революционном судне не должно быть ни начальников, ни подчиненных—все равны друг другу.

Понемногу и другие офицеры присоединились к ним: младший врач Голенько, найденный под судовой цистермой; полковник, представитель Обуховского завода, спрятавшийся в уборной; полковник Цветков—в машинном отделении; мичман Ястребцов, инженер Калюжный, лейтенант Назаров, спрятавшиеся по разным углам. Находясь вне опасности, офицеры могли хладнокровно обсудить действия матросов. Все согласилось, что виновники не матросы и само правительство¹⁾. Впрочем, они не вполне правильно оценивали момент. Они думали, что это—простой мятеж, и предполагали, что матросы сдадутся какому-нибудь иностранному правительству, например, Турции, оставляя офицеров и броненосец на произвол судьбы.

В это самое время квартирмейстер 1-й статьи Матющенко, выдвинутый событиями, об'яснил товарищам, собравшимся на юте, всю важность революционного момента, в который они начали борьбу за освобождение русского народа. Благодаря своей смелости, решительности и хладнокровию, Матющенко уже приобрел то сильное влияние на матросов, которое он сумел удержать до конца. Его речь и речи других матросов, членов революционного комитета, Никишкина, Звенигородского, Резниченко, развертывали перед матросами план восстания. Товарищи высказывали уверенность, что их выступление не будет единственным, что за ними последует вся эскадра. Речь встречались криками: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» Пока произносились речи, группа матросов расправлялась со старшим врачом Смирновым, бросая его за борт. На его просьбу дать ему спокойно умереть, отвечали: «А не ты ли хотел сегодня утром заставить нас есть гнилое мясо?»—«Я не виноват,—говорил врач,—я принужден был так поступить». На Смирнове тяготело другое обвинение. Говорили, что он из револьвера убил караульного за неповиновение приказаниям Гиляровского²⁾.

После Гиляровского, Неупокоева, Голикова, Тона, командированного военным министерством Григорьева, Смирнов был шестым. Последовала еще седьмая жертва, мичман Левенцов, который, вероятно, убит был в воде. Упомянем еще о мичмане Вахтине, который был только ранен. Он находился в офицерской каюте, когда матрос хотел пройти мимо за снарядами, для бомбардировки миноносца. Боясь вероятно быть убитым, Вахтин не пропустил матроса, заперев дверь. Матрос положил свою ношу, высадил дверь и запустил стулом в офицера. Раненый в голову, офицер упал под стол, его после вытащили и отправили в лазарет, где лежал уже смертельно раненый Григорий

¹⁾ Показания Коваленко.

²⁾ Матрос Головкин, фельдфебель артиллерии, удостоверяет, этот факт. Другими показаниями мы не имели возможности его подтвердить.

Вакулинчук. Число матросов, случайно убитых в течение этой драмы, остается до сих пор неизвестным. Некоторые из них, боясь взрыва на судне, распространили слух, что офицер Тон находится в помещении под 305-мм. пушками и намеревается взорвать броненосец,—бросились в море и утонули, не умея плавать. Другие были убиты залпами. Многие прятались, по примеру начальства, и показались только тогда, когда все было кончено.

В четыре часа пополудни матросы, принявшие команду различных частей, заранее назначенных им планом восстания, об'явили, что все готово к отплытию.

От матросов миноносца узнали о событиях, происходивших в это время на улицах Одессы. Первой мыслью свободных матросов было отправиться на помощь братьям-рабочим, поддержать их в борьбе за свободу.

Х. РАКОВСКИЙ.

Грузинский меньшевизм до и после августовского восстания.

Ил. Вардин.

Год назад в Грузии произошло восстание, организованное паритетным комитетом антисоветских партий. Публицисты и парламентарии буржуазии и социал-демократии предались безумной радости по поводу этого восстания. В течение нескольких недель по всей Европе стоял невероятный политический треск и шум. Разумеется, восстание паритетной контр-революции изображалось, как восстание всего грузинского народа, поднявшегося, наконец, против «большевистских насильников».

Каково, однако, политическое значение прошлогоднего восстания?

Меньшевизм заранее сдастся буржуазии.}

С момента советизации Грузии до августовского восстания грузинская социал-демократия шла по двум взаимно переплетавшимся линиям, обнаруживала одновременно двоякого рода тенденции, выдвигала вперед то одну свою часть, то другую. Известно, что в рядах социал-демократии постоянно существует разделение функций между правым и левым крыльями. Считаюсь с окружающей политической обстановкой, социал-демократия выдвигает на передний план то свой левый, то свой правый фланг.

На другой день после советизации Грузии, мы имеем такую картину состояния меньшевистской партии. Наиболее видные лидеры этой партии, во главе с Жордания, Рамишвили, Церетели, Чхенкели и др., находятся за границей. Жордания продолжает изображать из себя «председателя грузинского, «демократической» волей народа облеченного, «правительства». Церетели представляет грузинскую социал-демократию во II Интернационале.

Очень скоро меньшевистские вожди входят в соглашение с другими, находившимися в Париже, «кавказскими правительствами», создают единый «демократический» фронт против большевиков, вступают в переговоры от имени «кавказской демократии» с представителями французского правительства — Брианом и Лушером.

Предметом переговоров служил, разумеется, вопрос об «освобождении» кавказских республик от «большевистского ига». Бриан и Лушер изъявляли готовность оказать кавказским «демократам» всяческую поддержку, вплоть до снабжения оружием и деньгами, и тут же ставили практический вопрос о том, чем же взамен этого может отблагодарить «прекрасную Францию» «кавказская демократия». Непрошенные представители кавказских народов говорили о нефти, о марганце, о всяких иных природных богатствах, об организации финансов и т. д., и т. п. Опасения представителей французского империализма насчет «социалистических экспериментов» на Кавказе—Чхенкели рассеял следующими словами: «Наши народы и формы правления глубоко демократичны и преследуют задачи разумной демократии и социализма, но уважают принцип частной собственности, права иностранцев и согласны признать падающие на кавказские республики части российских долгов и международные обязательства, падающие на них».

Таким образом, ответ был дан самый утешительный: о социализме у нас принято-мол говорить, но мы «уважаем принцип частной собственности». Разумеется, Бриан легко мог сообразить, что «уважение принципа частной собственности» с социализмом несовместимо, что, следовательно, социализм останется пустым словом, а частная собственность—реальным фактом. Бриан и Лушер с удовлетворением могли еще констатировать, что граждане «демократические» «представители» кавказских народов принимают на себя от имени этих народов обязательства платить европейским банкирам те царские и времен Керенского долги, от которых октябрьская революция эти народы освободила.

Меньшевикам, дашнакам, муссаватистам, горским реакционерам нужна была власть во что бы то ни стало. Эту власть без помощи европейских империалистов они получить не могли, а помощь могла быть основана только на закабалении европейскому капитализму закавказских народов. Платить царские долги в обмен на оружие, которым меньшевики и их союзники должны были свергать большевиков, аннулировавших царские долги,—до такого цинизма могли пойти только люди, окончательно потерявшие политическую честь и политический разум...

* * *

В то время, как в Париже велась энергичнейшая работа по свержению большевизма, в то время, как «правительство» Жордания сохраняло все свои формальные функции и вело во всем мире бешеную кампанию против признания советского правительства,—в это время большинство оставшихся в Грузии меньшевиков стало на точку зрения «сотрудничества» с советской властью. 10-го апреля 1921 г. центральный комитет меньшевиков на большом партийном собрании в Тифлисе провел резолюцию, в которой заявлялось об отказе от вооруженной борьбы с большевиками и о желательности найти с ними «общий язык».

Но примирения с советской властью в этой резолюции, как и во всей политике грузинской социал-демократии того времени, разумеется, не было. Оставшиеся в Грузии меньшевики, считаясь с соотношением сил, считаясь с состоянием своей собственной организации, становились на более «левую» платформу, говорили об общем языке, чтобы выиграть время, чтобы перестроить ряды.

По сути же дела, о каком «общем языке» могла идти речь в то время, когда за границей Жордания, Рамшвили, Чхенкели фактически возглавляли боевой штаб антисоветской борьбы, когда они сохраняли конкурирующее «правительство», когда они, от имени грузинского народа, заключали с французскими империалистами кабальные сделки? Какая могла идти речь об общем языке в то время, когда оставшиеся в Грузии меньшевики с каждым днем усиливали свою политическую активность власти помешать проведению хозяйственных кампаний и т. д. и т. п.?

К середине 1921 г. меньшевистская партия уходит в подполье. Один из лидеров грузинского меньшевизма С. Джибладзе ставит вопрос об изыскании «общего языка» уже не с советской властью, а с буржуазными и мелко-буржуазными партиями Грузии. Намечается образование антисоветской коалиции.

Буржуазные партии к этому времени уже имеют свой интерпартийный комитет независимости. Начинаются переговоры о вхождении меньшевиков в этот интерпартийный комитет. К лету 1922 г. переговоры успешно заканчиваются. Образуется паритетный комитет. Формальное руководство паритетным комитетом вручается меньшевикам. Первым председателем паритета избирается меньшевик Карпивадзе. Но все это была формальная сторона вопроса. По существу хозяином в паритетном комитете была не партия меньшевиков, а буржуазно-дворянская партия национал-демократов. Об этом лучше всего свидетельствует та основа, на которой было достигнуто соглашение между входившими в паритетный комитет партиями. Секретарь паритетного комитета Ясон Джавахишвили пункты соглашения формулировал следующим образом:

«1. Партии об'единяются для того, чтобы общими силами бороться за независимость Грузии.

2. В случае, если будет восстановлена независимость Грузии, созывается учредительное собрание, которому дадут отчеты в своей деятельности как правительство, находящееся за границей, так и то, которое будет образовано в переходное время.

3. На заседании учредительного собрания организовывается новое правительство на коалиционном принципе, при чем ни одна партия не имеет права занять более одной трети мест.

4. Избирается паритетная комиссия для разбора деятельности прежнего правительства, доведшего страну до краха.

5. С момента подписания настоящего договора избирается на паритетных началах комитет под названием Комитет Независимости Грузии».

Этот документ является решительной победой буржуазных партий. Здесь перед нами предварительная капитуляция меньшевизма перед буржуазией. Если бы меньшевикам и их союзникам удалось одержать победу над советской властью, то это была бы победа не меньшевиков, а их буржуазных союзников. В коалиционное правительство могли войти меньшевики, национал-демократы и федералисты. Блок национал-демократов и федералистов имел бы в руках полную власть. Этот же блок, согласно уговору, посадил бы меньшевистскую партию на скамью подсудимых. О характере приговора паритетной комиссии над меньшевистской партией вред ли можно быть двух мнений: меньшевики были осуждены за то, что «довели страну до краха» и изгнаны из правительства. В Грузии установилась бы фашистская диктатура.

Победа буржуазных партий над меньшевиками заключалась еще в том, что меньшевики решительно отбрасывали прочь свою программу и целиком принимали программу буржуазных партий. Основным вопросом для паритетного комитета, для всех входящих в его состав партий был вопрос национальный; о вопросах социальных никто не говорил, ибо это противоречило интересам тех буржуазных партий, которые еще до изгнания большевиков из Грузии целиком навязывали социал-демократии свою волю. Чтобы иметь ясное представление о социальной сущности паритетного комитета, достаточно ознакомиться с объяснениями одного из лидеров национал-демократов, секретаря паритетного комитета, Ясона Джавахишвили. Рассказывая на процессе паркетчиков о создании паритетного комитета, Джавахишвили говорит:

«Объединение произошло вокруг ясного лозунга. Нас не интересовал вопрос о том, путем демократизма придем мы к социализму или путем диктатуры. Тот факт, что на этом фронте объединения равнодушно смотрели на вопрос о социализме, означает то, что социализм, которого мы не разделяли, не составлял головоломного предмета. Для нас меньшее, вернее для нас никакого значения не имели социально-политические вопросы».

Впоследствии, когда августовское восстание потерпело поражение, Жордания упрекал последнего председателя паритетного комитета Адроникашвили за то, что тот подчинился влиянию национал-демократов, что он исказил партийную социал-демократическую линию и т. д., и т. п. Это было в высшей степени недобросовестное объединение в том смысле, что подчинение меньшевистской политики национал-демократической началось и проводилось давно с безусловного ведома и с полного согласия Жордания и других лидеров меньшевизма. Бесспорная правда заключается в том, что грузинская социал-демократия с февральской революции полностью проводит программу буржуазных партий, что она систематически выбрасывала за борт важнейшие пункты своей программы. И делалось все это отнюдь не против воли, а при энергичнейшем участии лидеров этой партии—Жордания, Церетели, Рамшвили и других.

Меньшевистские «гарibaldiйцы», «реакционная» Россия и «революционная» Европа.

По свидетельству самих руководителей паритетного комитета, с весны 1923 года паритетный комитет приступил к практическому осуществлению лозунга о вооруженном восстании против большевиков. Здесь перед нами переломный период в жизни грузинской контр-революции. На протяжении 1921—1922 г.г. вопрос о восстании, как о главном средстве борьбы с большевизмом, еще не ставится. Главная надежда в этот период возлагается на внешнюю силу—на войну между Антантой и советской властью, на внутренние осложнения в России, на самоликвидацию большевизма и т. д., и т. п.

Этот период считается, что первый основной удар советская власть должна получить извне, а находящиеся в Грузии отряды антисоветского фронта должны будут вмешаться в борьбу и завоевать позиции для себя. Для этой цели существовали партизанские отряды, которые время от времени устраивали вооруженные выступления, имея в виду, с одной стороны, дезорганизовать деятельность власти, а с другой стороны, показать Европе—дать возможность врагам советской власти кричать, что «грузинский народ» не при-

знает большевистской власти, что этому народу необходимо оказать поддержку, что европейская демократия должна освободить Грузию и т. д., и т. п.

По поводу этих отрядов Жордания в своей книжке «Мы и они» еще в 1923 г. писал:

«В Грузии существуют вооруженные отряды и они бандиты,—поддакивает коммунистам С. Девдариани. Против кого ведут борьбу эти отряды? Если против частных сил, то тогда они действительно бандиты. Если же против власти, то тогда они революционеры. С вооруженными отрядами Ирландия воевала против английского правления в течение пяти лет, но никто не называл их бандитами. Даже враги называли их нерегулярным войском Ирландии... Вооруженные отряды Гарибальди освободили Италию. Без оружия невозможно добыть свободы. Но когда нужно вооруженное выступление и когда нет—это вопрос тактики, времени и обстановки».

Жордания упускает из виду пустяки, он забывает про разницу между Англией и Советскими Союзом. Англия—страна империалистской реакции, Советский Союз—страна пролетарской революции. Ирландские республиканские отряды Де-Валера безусловно являлись отрядами революционной борьбы против реакционного правительства английского короля. Гарибальди боролся против императорской Австрии за создание единой, национально-объединенной Италии, т. е. боролся за прогрессивное дело.

Грузинские меньшевистские и вообще «паритетные» партизанские отряды боролись против самой революционной в мире партии, против самой революционной в мире власти. Поэтому они были реакционными бандами, служащими целям империализма и фашизма.

Но в данной связи нас интересует не этот вопрос. Мы хотим лишь подчеркнуть, что в 1921—1922 г.г. партизанские отряды паритетной контр-революции ограничивались частичными выступлениями, выжидая, когда главный удар произведет европейская или российская реакция.

С весны 1923 г., когда надежды на внешние осложнения значительно поблекли, центр внимания переносится на подготовку восстания внутри. Если раньше рассуждали: Европа начнет, мы вмешаемся и захватим власть, то теперь рассуждали иначе: мы начнем, захватим власть, Европа вмешается и поможет нам закрепить власть.

Меньшевики, естественно, должны были доказывать с «социалистической» точки зрения, что большевистскую власть можно и нужно свергать в интересах... социализма. И вот Жордания в ряде брошюр утверждает, что советская власть и экономически, и политически представляет собой явление до-капиталистического порядка, что капитализм поэтому несравненно прогрессивнее советизма. В брошюре «Вопросы борьбы» Жордания в 1923 г. писал: «Не социалистическая, не федеративная, не республиканская, только и только тираническая,—вот форма строя современной России». Образцы нынешнего советского режима Жордания находил... в древне-восточных деспотиях. Ну, а раз деспотия, раз тирания, раз и в экономике, и в политике—до-капиталистическая реакция,—задача социалистов ясна, и ее формулировал Рамишвили в статье «Русский коммунизм и грузинская демократия». Рамишвили писал:

«Деспотия по существу отвергает внутреннюю эволюцию и всегда уничтожается путем революционных выступлений. История не знает примера мир-

ного переустройства деспотии. Вспомните судьбу китайского богдыхана: и его престол уничтожил революционный народ. Этими же путями была уничтожена персидская и турецкая деспотия. Такова была судьба и российского царизма. Режим, который существует при помощи насилия, всегда становится жертвой насилия. Свержение диктатуры—дело революции. Коммунистическую диктатуру должна уничтожить антикоммунистическая революция»...

Так обосновывала грузинская социал-демократия необходимость вооруженной борьбы с советизмом. Власть, созданную самым передовым классом современности, она сравнивала с властью китайского богдыхана, персидского шаха и турецкого султана!

Грузия,—неоднократно подчеркивал Жордания,—не может освободиться от большевистской власти без иностранной помощи. Помощь может и должна дать капиталистическая Европа. Жордания ведь еще в 1920 г. заявил, что предпочитает империалистов Запада фанатикам Востока! Эта формула была не раз «научно» обоснована Жордания. Он рассуждал так: Россия реакционна, Европа прогрессивна. У нас нет ничего общего с Россией, у нас очень много общего с Европой. Главное, что об'единяет Грузию и Европу, это—признание демократии и принципа частной собственности... Да, да—именно частной собственности! Этому обстоятельству «социалист» Жордания придает решающее значение. Россия отменила частную собственность, она стала на почву до-капиталистической общины. «Между тем,—пишет он в «Вопросах борьбы»,—азиатская деспотия создалась на основе общинного или государственного владения землей, а европейская свобода упрочилась на основе частной собственности на земли». Грузия сохранила принцип частной собственности; значит, она находится в родственной связи с Европой...

Жордания, конечно, неведомек, что каждая форма собственности подчиняется законам исторической обусловленности, что некогда прогрессивная форма частной собственности ныне стала реакционной. Он не понимает или делает вид, что не понимает, что большевики не вернулись к общинной системе собственности, а преодолели капиталистическую собственность и перешли к новой общественной форме владения землей. Он не понимает, вернее, делает вид, что не понимает, что национализация промышленности, захват государством командных высот в области народного хозяйства, является гигантским шагом вперед от капитализма, а не назад от капитализма...

Интересны те практические выводы, к которым приходит Жордания на основании своих, с позволения сказать, «теоретических» выкладок. Эти выводы он на странице 25 своей брошюры «Вопросы борьбы» формулирует следующим образом:

«Грузинский народ окончательно должен войти в европейскую семью, а это возможно путем свержения большевистского господства и восстановления свободы. Почва для этого подготовлена и у нас, и в Европе. Вся западная демократия сильно заинтересована грузинским народом, с большим сочувствием относится к нему и оказывает ему покровительство. Западная демократия уже считает грузинский народ своей неразрывной частью. С другой стороны, сам грузинский народ не мирится с московской оккупацией, борется за свободу и смотрит на Запад. Он полон надежд, и эти надежды не будут обмануты».

Паритетный комитет на другой день после неудачного восстания в своем заявлении признавался, что он «при посредстве заграничного бюро стремился к созданию в западно-европейских государствах, и, в особенности, во Франции и Англии, соответственных условий для получения помощи».

Паритетный комитет выражается очень сдержанно. Почва, по словам Жордания, была подготовлена в Европе еще в 1923 году. К моменту восстания речь шла о практической стороне вопроса. Специально приславший из-за границы в Тифлис для организации восстания Ной Хомерики говорил о тысяче маузеров, о денежной помощи и т. д., и т. п. Впрочем, важен, конечно, не вопрос о формах и размерах помощи, а важно то, что грузинский меньшевизм действовал, имея европейскую капиталистическую зарядку. Люди на весь мир кричали о «свободе» и «независимости» Грузии, а на деле готовили ей чудовищную кабалу, готовили безраздельное господство европейской капиталистической реакции.

«Авантюра... верхних слоев нации».

По мере того, как планы социал-демократии становятся ясными, от нее начинают отходить все те элементы, которые не считали возможным принять участие в фашистском антиреволюционном восстании. Уходят виднейшие цехисты Тевзая и Фарниев, к августу 1923 г. из партии выходит 12.000 рабочих и крестьян, в подавляющем большинстве случаев старые революционеры. Уходит председатель цеха Дездариани, выступая с резкими статьями против авантюристской политики Жордания. В партии бурным темпом происходит процесс фашистского перерождения, она целиком подчиняется гегемонии дворянской партии национал-демократов. 28 августа паритетный комитет провозглашает восстание, а уже 5 сентября он из чека публикует следующее заявление:

Это заявление дает ясное представление о том, какие социальные силы восстали против советской власти в августе прошлого года. Это было восстание «верхних слоев нации». Главную боевую силу паритетной контр-революции составлял отряд князя Чолокаева. Победа восстания была бы победой самых крайних элементов реакции—победой дворянских и офицерских банд во главе с Чолокаевым, который, несомненно, явился бы в роли великого национального героя, в роли спасителя нации...

Впоследствии, на процессе паритетчиков, один из подсудимых—Каландарашвили говорил:

«Массовое организованное выступление, которого мы ожидали, не состоялось; широкие народные массы нас не поддержали, и мы остались только с теми активными силами, которые были набраны в верхних слоях нации и большею частью скрывались в лесах. Наше выступление фактически против нашей воли превратилось в авантюру, за которой естественно последовали репрессии власти, ответственность за каковые всецело падает на нас».

«Я принял активное участие в движении и говорю: это было движение недовольных революцией элементов. Были здесь и крестьяне, борьба которых была вызвана бестактным поведением местной власти... Но мое впечатление таково, что движение в своей глубине опиралось на стремление антиреволюционных и антисоветских элементов».

В 1919 г., когда крестьяне поднимали подлинно революционное восстание против фактически буржуазного правительства, Жордания, вождь грузинской социал-демократии, ссылаясь на Маркса, говорил о сплошной реакционности крестьянства и отстаивал необходимость беспощадного подавления крестьянских восстаний. Ныне, когда в некоторых районах крестьяне приняли участие в августовском восстании, меньшевики на этом основании пытаются выдать его за народное революционное восстание. Но они забывают, что с точки зрения марксизма, крестьянин—революционер, когда он борется против капиталистической власти, и он реакционер, когда борется против власти пролетарской.

В России крестьянство сыграло величайшую революционную роль; без его поддержки пролетариат не смог бы удержать власти. Но в различные периоды различные слои крестьянства колебались, поворачивались спиной к пролетариату, даже восстали против него. В этих случаях крестьяне выступали, как реакционная сила. Крестьянские восстания Махно, Петлюры, Антонова и др., крестьянские восстания в Сибири, в Поволжье, на Урале были реакционными восстаниями, ибо эти восстания прокладывали путь к власти капиталистам и помещикам. С этой точки зрения ясно, что участие некоторых слоев крестьянства в августовском восстании не делает это восстание прогрессивным. Оно, как было, так и остается восстанием «верхних слоев нации»—по своей программе, по своим целям, по своим основным движущим силам.

Для характеристики августовского восстания решающее значение имеет и то, что в нем участвовали некоторые группы крестьянства,—решающее значение имеет то, что ни одна рабочая группа восстания не поддержала, что в ряде районов крестьяне с оружием в руках выступили на защиту советской власти, что в Восточной Грузии крестьянство, на другой же день после восстания, целиком поднялось против остатков дворянства и изгнало эти остатки вон. Для характеристики восстания решающее значение имеет то, что ни один городской центр не был захвачен повстанцами, что во всех городах и прежде всего в Тифлисе, на защиту советской власти встали не только организованные силы советской власти и коммунистической партии, но активно за власть советов встала вся беспартийная рабочая масса, которая через партию и профсоюзы была вооружена. Это была окончательная изоляция меньшевизма от рабочего класса.

Жордания и Церетели.

Какие уроки вынес грузинский меньшевизм из августовского восстания? Куда держит ныне он путь? Оценке августовского восстания Жордания посвятил целую брошюру под названием «Что случилось?». В этой брошюре он, между прочим, писал:

«Выступление 28-го августа более не должно повториться. Оно сыграло свою роль, и более в такой роли Грузия не нуждается. Но это не значит, что грузинскому народу не придется взять в руки оружие и вступить в освободительную борьбу».

Жордания возвращается к позиции, которую грузинский меньшевизм занимал в 1921—1922 г.г.: «Начнет Европа, мы вступим в борьбу». Это

ясно из заключительных строк итоговой брошюры Жордания. Здесь мы читаем:

«Плененная Грузия испробовала один путь для своего освобождения, для изгнания москвичей собственными силами. Она не достигла цели. Это средство не оказалось целесообразным. Но остались другие пути, другие средства, гораздо более острые и могущественные. Это внешние и внутренние кризисы советской власти, кризисы, которые постепенно приближаются и нам готовят усердных союзников. Это будет борьба последняя, жизнь и свободу дарующая». («Что случилось?», стр. 38).

Таким образом, Жордания в основном стоит на старой позиции, с той только разницей, что к самостоятельному восстанию он прибегнуть не хочет, ибо оно не оказалось «целесообразным». Но от решительной борьбы с советской властью, от того, чтобы в случае «кризиса» взять в руки оружие, Жордания не отказывается. А меньшевистский подпольный цека уже в августе 1925 года заявляет, что непримиримая борьба с советской властью будет не ослабевать, а усиливаться.

Таковы уроки, которые извлек вождь грузинского меньшевизма из августовского восстания. В основном старая тактика сохраняется: «освобождение» Грузии должно притти с Запада.

Иную позицию занял Церетели. Под влиянием августовского восстания он прямо поставил вопрос о пересмотре тактики. В своих тезисах, опубликованных в апреле текущего года в Париже, Церетели пишет:

«Грузинский народ правильно должен оценить то, как к нему относится Европа, и ту роль, какую в его жизни играет Россия. На Грузию, лежащую вдали от мировых центров, европейские государства обращают очень мало внимания, несмотря на переживаемую ею трагедию... Общественное мнение европейских государств до такой степени считается с Россией и так ценит восстановление с нею взаимоотношений, что руководители европейских государств, даже те, которые враждебно относятся к Советской власти и признают наши юридические права, из-за Грузии не находят возможным не только объявление войны, но избегают даже просто дипломатических столкновений. Пятилетняя работа грузинской дипломатии обнаружила это с полной ясностью... Нет никаких оснований думать, что в будущем, поскольку это будущее можно предвидеть, положение изменится».

Из этих весьма здравых и весьма горьких для грузинского меньшевизма рассуждений Церетели делает следующие выводы:

«Если Грузия построит свою политику на возможности военных конфликтов, если она даст понять России, что при всяких осложнениях Грузия будет строить против нее козни, это вооружит против Грузии не только большевистскую, но и всякую другую Россию, — и кто знает, какую беду готовит такая политика Грузии. Европа же подобную политику сочтет за авантюристическую».

Таким образом, как видит читатель, рассуждения Церетели весьма расходятся с рассуждениями Жордания. Церетели за российскую ориентацию, Жордания, как мы видели выше, целиком остается на точке зрения союза с буржуазной Европой. Церетели советует не строить своей политики «на возможности военных конфликтов», политика Жордания целиком построена на этой возможности. Других средств он не имеет.

Но и Церетели и Жордания остаются единодушными в глубочайшей ненависти к большевизму. Церетели и мысли не допускает о соглашении с большевиками, — он строит все свои планы на союзе с российскими меньшевиками, кадетами, эсерами и т. д. Церетели разочаровался в Бриане и Чемберлене — «пятилетняя работа грузинской дипломатии» пошла прахом — и он снова воспылал любовью к Милюкову и Керенскому. Церетели собирается восстановить коалицию 1917 года. Если бы его мечты осуществились, если бы в России победили кадеты, эсеры, меньшевики, то, разумеется, вопрос о «независимости Грузии» был бы забыт, и Церетели охотно принял бы пост министра российского временного правительства.

А сейчас поворот Церетели интересен, как показатель глубочайшего кризиса, переживаемого меньшевизмом, как блестящее свидетельство позорного краха основ меньшевистской политики. Мы выше видели «научные» аргументы Жордания за союз с Европой и разрыв с Россией. В свое время это были аргументы и Церетели. А теперь Церетели пишет: «Россия в жизни грузинского народа представляет из себя такой сильный фактор, что без соглашения с нею, вне солидарности Грузии с сочувствующими ей элементами, Грузия не в состоянии строить свою жизнь на прочных основаниях». Так Церетели ищет теперь «общего языка» с Черновыми и Милюковыми во имя восстановления «единой неделимой»...

«Общий язык» и «средняя линия».

30 июля в Тифлисе закончилось дело паритетного комитета, организовавшего прошлогоднее августовское восстание. На скамье подсудимых сидели руководящие представители пяти политических партий Грузии — меньшевиков, национал-демократов, федералистов, независимых социал-демократов и эсеров. Из всех этих партий более или менее серьезное значение имели в недавнем прошлом и отчасти сейчас имеют меньшевики, национал-демократы и федералисты. Независимцы и эсеры — это совершенно ничтожные по удельному политическому весу и по своему влиянию группы. Главными движущими силами паритетной контр-революции являлись меньшевики и национал-демократы, при чем меньшевики вели за собою определенные круги мелкой буржуазии и мещанства, а национал-демократы опирались на боевые офицерские и княжеские банды.

Процесс вскрыл необычайную пестроту взглядов в рядах грузинского меньшевизма. Выше мы ознакомились со взглядами Жордания и Церетели. На процессе ни Жордания, ни Церетели не имели сторонников. Даже лидер национал-демократов Ясон Джавахишвили оказался «левее». Джавахишвили заявил:

«Грузинская национальная идея сегодня требует: 1. Решительного отклонения восстания. 2. Примирения с Россией. Правда, мы в обиду на коммунистическую Россию, но справедливость требует отметить, что коммунистическую Россию мы предпочитаем всякой другой России, так как при ней так или иначе защищены наши национальные права. Примирение и согласие с Советской властью и все это не потому, что мы отказываемся от идеи независимости, — идея независимости попрежнему будет нашим фетишем. Но мы пойдем к ней не путем восстания, а путем сотрудничества».

Совершенно ясно, что Грузия может быть независимой только при большевистской России. Те кадеты, эсеры и меньшевики, на которых сейчас ориентируется Церетели, на другой же день после своей победы превратили бы Грузию в российскую область. Это ясно теперь для наиболее дальновидных представителей грузинского национализма.

Точку зрения большинства подсудимых развил на процессе бывший председатель паритетного комитета Адроникашвили. Он заявил, что восстание раз и навсегда должно быть отвергнуто, как методы решения спорных вопросов экономики, политики и культуры. Все грузинские политические партии должны стать на мирный путь сотрудничества с советской властью в рамках советской конституции. Адроникашвили заговорил об «общем языке», о «средней линии», о необходимости об'единения большевиков и меньшевиков на этой «средней линии» и т. д., и т. п.

С еще более радикальными заявлениями выступил представитель другой группы подсудимых—Каландарашвили. Он заявил:

«Нужно сказать правду: ни империалистические государства Европы, ни II Интернационал не заинтересованы в благополучии Грузии. Напротив, они ставят своей целью использовать Грузию в своих интересах... Я должен заявить: с точки зрения международной революции, с точки зрения освободительной борьбы рабочего класса, та реальная обстановка, которая создалась к настоящему времени в Грузии, вполне закономерна и целиком оправдывается».

Переходя к характеристике грузинской социал-демократии, Каландарашвили заявил:

«Я не хочу утверждать, что авторы восстания не являются социалистами и революционерами. Я хочу только сказать, что социал-демократия в условиях борьбы при советской власти помимо своей воли получает результаты, противные ее целям. Социал-демократическая партия, на мой взгляд, устроила свой социалистический характер и превратилась в узко-националистическую партию, насквозь пропитанную национальным романтизмом».

Подсудимый Георгадзе, бывший военный министр меньшевистского правительства, один из лидеров независимцев, выступил с заявлениями, смысл которых сводился к тому, что он вообще считает себя политически мертвым человеком. Об отказе от политической деятельности прямо заявил один из видных деятелей меньшевистской партии Анджапаридзе.

Все эти заявления подсудимых об'ясняют и оправдывают чрезвычайно мягкий характер приговора Верховного Суда Грузии.

Бывшие руководители ЦК меньшевиков в 1921—1923 г.г., Девдариани, Сан и Тевзая, выступали на процессе в качестве свидетелей. Политическая их линия вполне совпадала со взглядами, развитыми Адроникашвили.

Чтобы иметь полное представление о политическом состоянии грузинского меньшевизма, необходимо упомянуть еще о группе газеты «Ахали Гза» («Новый Путь»). Эта группа работает легально, ее представителей не было ни среди подсудимых, ни среди свидетелей.

Еженедельная газета «Ахали Гза» является органом так называемой «рабочей комиссии». Эту «рабочую комиссию» составили в октябре прошлого года рабочие-меньшевики, до последнего момента остававшиеся в меньшевистской партии и питавшие еще надежду, что партия может вернуться на

старый путь. Эти рабочие не ушли в 1923 году, когда восстание подготавливалось. Они не верили, что их партия может пойти на такое чудовищное преступление.

В августе все стало ясно. И вот рабочие-меньшевики 1-го (железнодорожного) района Тифлиса созывают общее собрание, на котором избирают «Рабочую комиссию». В единогласно принятой резолюции собрание говорило:

«Последние события в Грузии—вооруженное выступление против советской власти—есть подлинная авантюра. Организовавшие восстание политические «идеологи» не посчитались с настроениями трудящихся масс Грузии и с их отношением к советской власти... Руководители нелегальной работы сеяли в народе ложные надежды, что Европа поможет Грузии против России. Вооруженного восстания не было бы, оно оказалось бы невозможным, если бы антисоветские круги не обманывали себя такими надеждами... Лучшей помощью со стороны Европы будет, если она категорически заявит, что никакой помощи не окажет противникам советской власти... Независимость Грузии возможна в свободном союзе с Россией. Принципы и постановления правящей партии представляют собой вполне прочную базу для культурного и экономического развития трудящихся масс Грузии... Пусть знает всякий, что всякое выступление против советской власти, откуда бы оно ни исходило, вызовет единодушный отпор со стороны рабочего класса Грузии, который, как один человек, станет рядом с правительством и будет защищать его до последней капли крови».

Это говорило огромное собрание рабочих-меньшевиков. То, что для этих рабочих было еще неясно до восстания, то стало очевидно после восстания. Рабочие комиссии были организованы по всем рабочим центрам. Началось новое широкое рабоче-крестьянское движение против официального меньшевизма. Свою политическую линию орган рабочей комиссии «Ахали Гза» определил следующими словами:

«Под знаменем пролетарской диктатуры, новым путем к старой, нам хорошо знакомой цели—к социализму-коммунизму!».

Группа «Ахали Гза» не стала еще подлинно-революционной, коммунистической группой. Она неправильно решает вопросы о гегемонии пролетариата и национальный, она рискует сбиться на пресловутую «среднюю линию», она далеко еще не освободилась от иллюзий «общего языка». Но можно надеяться, что, выйдя на «Новый путь», она будет идти вперед и прочно станет на правильный, большевистский путь.

* * *

Таково политическое состояние грузинского меньшевизма. В основном перед нами две фракции: правая—фашистская и «левая»—«примиренческая». Опасности представляют обе фракции.

Социал-фашисты не отказались от кровавых авантюристских планов, связывая их с военными планами Антанты. При первых признаках внешнего кризиса они обещают взять в руки оружие и вступить в «освободительную борьбу». Здесь задача заключается в том, чтобы заблаговременно отрубить руки, которые будут протягиваться к фашистскому оружию. Если мы не можем помешать планам Антанты, то вполне можем заранее разбить планы остатков грузинского меньшевизма.

Не меньшую, а, пожалуй, еще большую опасность представляет собою «левое», «примиренческое» крыло меньшевизма. Дело в том, что лозунги о «средней линии», об «общем языке» рассчитаны на встречный отзвук. На процессе лидеры паритетчиков подробно и с большим сочувствием цитировали грузинских... уклонистов. Они правильно схватили основную тенденцию уклонизма, правильно поняли, куда рос уклонизм...

И вот Андрионикашвили идею «средней линии» обосновывает как раз соображениями о том, что, мол, имел же какую-либо почву и историческое оправдание грузинский уклонизм! Вот куда он довольно бесцеремонно закидывает удочку!..

Грузинская компартия в оценке всех нынешних направлений грузинского меньшевизма единодушна. Необходимость непримиримой борьбы и против фашистского, и против «примиренческого» крыла меньшевизма не вызывает сомнений. Печать уже дала должную оценку речам о «средней линии». Колеблющиеся одиночки, которые имеются в грузинской компартии, так же, как и во всякой другой партии, серьезного политического значения, разумеется, не имеют.

Партия, позорно провалившаяся у власти, потерпевшая жестокое поражение в вооруженной борьбе, потерпит крах и на линии «примиренчества», окончательно будет уничтожена в процессе ее фашистско-заговорческой борьбы. Смело можно сказать, что некогда могущественная грузинская социал-демократия перестала быть силой, влияющей на ход общественного развития Грузии. Вся трудящаяся масса прочно сплотилась вокруг большевизма, успешно ведущего страну по пути мирного социалистического строительства.

И. л. В а р д и н.

К 200-летию Всесоюзной Академии Наук.

А. В. Луначарский.

Основание Академии Наук, в начале носившей название Санкт-Петербургской, тесно связано со всеми реформами Петра Великого.

В настоящее время смысл реформ Петра Великого совершенно ясен. Достаточно известно, что реформы эти готовились уже в предыдущее царствование и находили свое логическое продолжение в дальнейшей политике российского самодержавия, хотя иногда и были перебои и искажения.

От таких перебоев и искажений не могли быть свободны и реформы самого стремительного и самого прямолинейного из преобразователей—Петра.

Российское самодержавие являло собою, конечно, прежде всего центр сил и основную форму организации господствующих классов страны. Однако дело не об'стояло очень просто внутри самих господствующих классов, различные слои в них вели между собою немалую борьбу.

Старый, главным образом, феодально-земледельческий уклад с примесью некоторых форм сравнительно мелкого торгового капитала, более азиатского, чем европейского типа, сталкивался в своих интересах с тенденциями нового торгового капитала, постепенно выраставшего из мелочных оборотов, начинавшего заглядываться на выходы к морям, на использование транзита между Европой и Азией, и не только на более или менее широкий обмен отеческого сырья на европейскую продукцию, но и на постепенный переход к самостоятельной обработке сырья.

Политически торговый капитал как будто не играл значительной роли, но экономически он становился все более важным колесом в государстве. Однако же, влияние верхних прослоек купечества и сколько-нибудь втянувшейся в торгово капиталистические предприятия знати не могли сами по себе так стремительно и революционно вывести государство из равновесия как это мы видим при Петре. Для понимания внутреннего смысла реформ Петра надо еще учесть интерес самодержавия, как такового. Это вовсе не значит, чтобы персона царя, его династия, двор или даже бюрократия выделялись бы нами в качестве какого-то самостоятельного класса. Во все нет. Они конечно являются костью от кости и плотью от плоти господствующих классов вообще, но они составляют главный штаб этих классов. При низком развитии обще-

ственности в России они представляли собою, конечно, людей, в общем обладавших наиболее широкими горизонтами, наиболее осведомленных о международных отношениях и внутренних нуждах страны, которой они правили.

Но бог весть, как глубока была эта осведомленность и не бог весть, какой мудрящей являлась политическая мысль этого штаба, но тем не менее одно было для него всегда ясно: необходимость держать колоссальную вотчину российскую в полном подчинении господствующим классам, защищать ее в то же время от хищнических поползновений господствующих классов соседних держав. Военные соображения рядом с соображениями полицейского характера невольно были доминирующими соображениями этого главного штаба. И вот тут с полной очевидностью для всех мало-мальских мыслящих людей выяснились преимущества западной торгово-промышленной культуры, даже в чисто военном отношении. Петр Великий воевал много и сравнительно счастливо, результаты его войн (далеко, однако, не безусловно удачных) уже сами об'яснялись во время введенными преобразованиями военных сил страны на суше и на море. Нет никакого сомнения, что если бы реформы эти производились с меньшей стремительностью и натиском, чем сделано это было Петром, то страна опоздала бы и несомненно была бы тяжело изувечена тем или другим из своих соседей.

Но уже военно-политические соображения приводили к выводу, что армия и флот европейского порядка не могут быть поддерживаемы тылом, лишенным некоторых, хотя бы минимальных, элементов построенной псевдоевропейски промышленности.

Эти тенденции самодержавного штаба совпадали с тенденциями верхов торговой буржуазии и чрезвычайно усиливали влияние этого класса.

Эти же соображения крайне ослабляли оппозицию той части барства и духовенства, которая готова была стоять за старину. Решающим при этом являлось то, что самодержавие, начиная с Иоанна Грозного, если не раньше, обрело некоторый новый метод искания себе опоры во внутренних и внешних расприх, и некоторый новый слой господствующих, служивший для него источником силы. Таким слоем было помещичество. Необыкновенная сила российского самодержавия перед всеми элементами населения заключалась именно в том, что в Европе, где города развились мощно, с ними приходилось считаться непосредственно, т. е. не только покровительствовать им, но испытывать на себе давление их требований. Русские же города в этом отношении были достаточно немощны, играя определенную экономическую роль, толкая страну вперед на пути европеизации. Содействуя такого рода предприятиям самодержавия, города вместе с тем долго, долго не осмеливались громко заговорить о своих правах.

Помещичество необ'ятной страны, создавшееся параллельно с силой московских царей, нашло как раз основной узел своей организации в самодержавии, как таковом. Оно опять-таки не могло найти никакого другого организующего центра. Распыленное, индивидуально слабое, держащееся только покровительством царя—оно во всей своей массе составляло, тем не менее, основу военной силы самодержавия; представляло собою, правда расточительный, нелепый, но тем не менее достаточно сильный аппарат для стягивания еще более распыленной и дезорганизованной крестьянской массы, из которой выколачивалась в последнем счете и военная и экономическая мощь

государства. Самодержавие непосредственно через помещиков опиралось на бесправную безоружную крестьянскую Россию, и это позволяло ему в значительной мере игнорировать полуувядшую феодальную верхушку знати и действовать во многих случаях довольно самостоятельно.

Помещичество, конечно, было прежде всего заинтересовано в военно-политической и, в значительной мере, торговой мощи страны. По тому времени это было самое государственное сословие. Отдельные помещики могли совершенно не сознавать этого и быть настоящими дикарями, но классовое чувство в этих случаях, проявляющееся обыкновенно, как известный социальный инстинкт, подсказывало помещикам, что их благосостояние теснейшим образом связано с ростом великодержавности России.

Великодержавность была объективно возможна, ибо исторически сложилась страна с огромной территорией и редким, но многочисленным населением. Все дело было только в том, чтобы использовать эту стихию к наибольшей выгоде правящих. Такой метод нашли именно в приспособленной к этой цели европеизации. Ее и проводил Петр. Он мог опереться при этом на более или менее распространенную, ослабившую одних и усилившую других мысль, что без европеизации Россия может погибнуть под ударами западных соседей. Он опирался на интересы растущей буржуазии, он опирался на свое дворянское офицерство и на свое вымуштрованное, хорошо проваренное в казарме, крестьянское солдатство.

Петру не нужно было быть особенно мудрецом, чтобы понимать невозможность создать великодержавие без науки. В XVII веке это было уже бесспорно. Хотя религия держалась более или менее крепко и не только правительство, но и буржуазия были убеждены в необходимости ее, как скрепы повиновения низов. Хотя различные философские системы представляли собою как раз более или менее фальсифицированные выводы из молодой науки, попытки примирения их с религиозными элементами, тем не менее, фактически мысль буржуазии, уже тогда основного действующего класса, отчланила от религиозного берега. Мы знаем, что после ряда скитаний по морям, свободы торговли, свободы слова и совести, наконец даже политической свободы, буржуазия будет пытаться вновь причалить к этим покинутым берегам. XVIII в. был весной всех этих свобод, еще не вылупившихся из яйца времени. Для буржуазии было ясно, что широкое мореплавание, мануфактура с постепенным употреблением все более усовершенствованных механических и химических процессов совершенно немислимы без развития математики, механических воззрений на природу и т. д. XVIII веку предоставлено было со всей остротой поставить вопрос о научном освещении явлений общественных. XVII век задумывался об этом сравнительно мало. Механика и математика были его преобладающими интересами и отсюда делал он необходимые и часто разрушительные экскурсии в области философии и религии для того, чтобы создать себе довольно крепкий фундамент для своих успехов.

Широчайшие построения Декарта, Малерба, Спинозы по своему социальному смыслу были прежде всего попытки, не об'являя прямой войны духовенству, создать логическую и психологическую атмосферу, в которой можно было бы с уверенностью добывать точные знания о природе. Русская религиозная мысль была до ужаса слаба и скомпрометирована. Искренно и свято верующих можно было найти, главным образом, среди раскольников, абсолютно

темных, дикарски суеверных, совершенно неподатливых по отношению к прогрессу. Может быть из старообрядчества и был некоторый выход к свету, но он лежал совсем на других путях, чем путь государственного просвещения, естественно избранный Петром. Православие, как таковое, представляло из себя сплошное гниение. Внизу, в крестьянстве, само собою разумеется, — языческое полужерие, в совокупности с суевериями и больше ничего, а наверху отсутствие всякого убеждения, пустой ритуал и на каждом шагу пограние всех начал какой бы то ни было христианской нравственности. По сравнению с убожеством русской религиозной мысли, Европа как в католицизме, так и в чисто буржуазных изводах христианства, в особенности кальвинистского толка, представляла собою недостижимую твердыню религиозности.

Это обстоятельство более всего позволяло Петру превратить церковь в подсобный, подчиненный и слегка презираемый винт его государственной машины, а лично — подняться до странной смеси слабых остатков религиозного сознания со всешутейшим издевательством над религией.

Петр Великий был чрезвычайно мало связан узами религиозности и то же, конечно, надо сказать и обо всем окружавшем его бюрократическом генеральном штабе. Зато сознание того, что точные знания о природе являются базой правильного хозяйствования, правильного распоряжения людьми и вещами, крепко вошло в голову хозяев тогдашней России. Отсюда естественное стремление как можно скорее пересадить науку на русскую почву. Строя свою Санкт-Петербургскую Академию, Петр вовсе не думал механически пересадить приглашенных им многоученых немцев в Россию. Говорят, что Петр любил иностранцев; конечно, он находил в них более понимающих помощников, но он великолепно видел, что прививке науки должно во что бы то ни стало содействовать возникновение собственной национальной научной поросли, которая обеспечивала бы возможность большей независимости от Европы. Ленивого русского помещичьего щенка было невероятно трудно заставить учиться. Но Петр решил не жалеть палок и заставить долбить европейскую науку российских недорослей. Немцы призывались для этого, и к немцам отправляли хоть сколько-нибудь способных барчуков.

Очень характерны те, так сказать, кумовья, которые стояли у купели будущей Академии Союза Советских Социалистических Республик. Петр во многом брал свой устав от Парижской Академии наук. Парижская Академия еще и в десятой доле не развернула той революционности научной мысли, которой отличались французские просветители несколькими десятками лет позже, но тем не менее это была очень серьезная буржуазная батарея. Ее членами были очень многие дворяне, но это были дворяне обуржуазенного типа. В Парижской Академии, в самой интересной для Петра части ее, среди математиков, механиков, физиков, химиков и всякого рода других естествоиспытателей, царил та же влюбленность в приобретение точных знаний о природе. Позднее именно на этой почве вырастет чудесный цветок энциклопедии Дидро. Парижская наука позднее не только будет содействовать революционному рационализму, этой весьма активной силе в стихийном сдвиге конца XVIII века, но солидаризируется с самими революционерами, даст своих членов во все партии вплоть до самой крайней, предложит весьма действенную помощь науке в деле самообороны революционной Франции и устройства новой жизни. Вместе со всей французской буржуазией, французская наука переживает огромный

под'ем вверх не только в смысле чисто научных достижений, но и в смысле понимания глубочайшей внутренней связи между наукой и революцией, понимаемой как процесс сознательного устройства целесообразных форм жизни на земле. Заложенного в Парижской Академии революционного заряда Петр, конечно, не понимал. Ему было важно приобрести орудие просвещения своего дворянского чиновничества и опору для развития национальной промышленности и торговли, а также и в первую очередь военной техники.

Имея все же в виде образца Парижскую Академию, Петр обратился к Лейбницу с просьбой составить устав Академии. Лейбниц при всей громадности универсального ума был большой Сахар Медович. Буржуазная наука даже субъективно не осознала в то время необходимости разрыва с монархией. Мощь молодой буржуазии сказывалась все еще в смысле усиления монархии, правда одновременно с перерождением ее в так называемый просвещенный абсолютизм. Этому соответствовала и вся манера Лейбница, готового достаточно тонко льстить разного рода коронованным особам обоего пола и употреблявшего огромные и часто поразительные по остроумию приемы для того, чтобы кричащие противоречия мира превратить в гармонию, в которой, благодаря мудрости провидения, великолепно сочетаются полная свобода личности (что входило в идеал тогдашнего просвещенного буржуа предпринимателя и конкурента) и «порядок».

Индивидуалист-буржуа очень жаждал в то время *порядка*, он и всегда жаждет его прежде всего потому, что вместе с Гоббсом более или менее ясно понимает, что без некоторого полицейского арбитра буржуазные конкуренты могут пожрать друг друга—рассыпать такие теплые об'единения для торгово-промышленной эксплуатации заграницы и своей собственной бедноты, какими являлись державы, начиная в особенности с XVII века.

Все же Лейбниц был просвещенец. *Порядок* он представлял себе как нечто гармонически вытекающее из стремления *свободных* граждан даже самого первого ранга, а к таким он относил ученых, сохранять это всем дорогой порядок. Ему хотелось сохранить за Академией свободу самоуправления, и в уставе он писал, что Санкт-Петербургская Академия должна быть чисто научной единицей, независимой от бюрократии, не сливающейся с нею, и что члены Академии ни в коем случае не должны получать ни чинов, ни орденов. Ему хотелось, чтобы Академия сама избирала своего президента и вообще представляла собою некоторую коллективную монаду, внутренняя воля которой сама направит ее по линиям гармонически параллельным целям русского государства. В таких же приблизительно тонах готов был бы видеть Академию и типичный, несколько узкий, но честный просвещенец—Вольф.

Петру хотелось, чтобы имена блестящих учителей Европы сияли на метрическом свидетельстве новорожденной Академии, но он знал, чего хотел, и в своем указе об открытии Академии от 28 января 1724 года заявлял, что «невозможно, чтобы здесь следовать в прочих государствах принятому образцу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства». Исходя из своего понимания «состояния здешнего государства», Петр Великий даровал, во-первых, всем академикам звание дворян и включил их, таким образом, в правящий класс. Во-вторых, установил для них все правила, какими руководилась жизнь бюрократии вообще и, в-третьих, признал необходимым, чтобы

президент назначался царем. В такой форме и стала жить Санкт-Петербургская Академия.

Хотя она и состояла из иностранцев, но уже Петром были приняты меры к вызову из собственной земли продолжателей этого дела. В недрах Академии устроены были и университет и гимназия, позднее из нее выделившиеся. Как бы символизируя дальнейший ход развития культуры, как бы в ответ на запрос дворянского самодержавия, народ из довольно глубоких недр своих, из слоя зажиточного крестьянства, выдвинул гиганта Ломоносова.

В Академию приглашались при Петре и в течение всего XVIII века из-за границы весьма крупные представители науки, но Ломоносов, быть может, затмил их всех, как универсальностью тем, которых касался, чем впрочем нельзя было особенно удивить их, так и поразительной, поистине гениальной глубиной своего прозрения сущности многих научных вопросов. Ломоносов опередил свой век и во многом является почти нашим современником. Влияние его на Академию и на всю молодую культуру страны было, конечно, огромно, но оно ни в чем не могло изменить коренных особенностей научной жизни России XVIII века.

Когда во Франции созревала революция, электрические токи вольтерьянства и энциклопедизма достигли до России. Они далеко не были только модничанием отдельных российских бар, этих позолоченных татар, далеко не были только парюрой северной Семирамиды, они нащупывали среди появившихся уже передовых прослоек смешанного буржуазно-дворянского авангарда людей, способных откликнуться на них более или менее целиком. Такими были не только всем известные Радищев и Новиков, но, например, и изумительный Крылов, в начале своей деятельности обещавший сделаться совершенно исключительным блестящим сатириком, и, быть может, самым могучим проводником вольномыслия на русскую почву. По первому размаху его можно было думать, что он оставит бесконечно далеко за собой Фон-Визина и ему подобных.

Но отразилось ли это как-нибудь на Академии? Академия была в такой огромной степени скована своим сановным чиновничеством, она до такой степени была под рукой самодержавия, понимавшего ее, как свой аппарат, что повидимому совершенно не всколыхнулась. Правда, в период репрессий конца царствования Екатерины и в эпоху Павла, деятельность Академии, даже научная, сильно ослабевает; правда она как будто выпрямляется с ростом новой общественно-эпозиторной волны, приведшей к декабрю. Но тем не менее можно сказать, что в истории русской общественности, как таковой, Академия не играет никакой роли. Ее политическая идеология до Ломоносова, у Ломоносова, и после Ломоносова, тшедушна и благонамеренна. И хорошо уже, если труслива. Академик трусящий это все таки более приятный тип, чем академик, которому и трусить-то нечего, до такой степени от своего многодумного лба до своих пяток, облеченных в шелковые чулки и башмаки с пряжкой, представляет он собою без лести преданного ученого чиновника.

И все же именно в этот первый период жизни Академии в XVIII-м веке она развивает необычайно планомерную деятельность, при этом далеко не только абстрактно научную, не только сверкают в ее списках имена Бернулли, Эйлера, Пялласа и родного Ломоносова, но прделывается гигантская практическая работа. Кульминационный пункт этой работы падает на 60—70-е годы XVIII в.

В то время Паллас, Гильденштедт, Лепехин, Фальк и другие интенсивно начинают исследовать евразийскую страну, как бы вновь открывая ее для человечества или, вернее, открывая ее для него впервые. Ряд блестящих по своим результатам классически описанных экспедиций направляется по всем направлениям неизмеримой империи и, обогащая науку множеством новых данных, в то же время накапливает богатые материалы для трона и бюрократии, которым же нужно было, чтобы быть сколько-нибудь рачительными хозяевами, знать, над чем они собственно хозяйствуют.

Да, Академия Наук в лице своих иностранных и русских сочленов открывает Россию. Самым блестящим ее делом является создание Атласа Российского, появившегося еще в 1745 году и удостоившегося самых блестящих отзывов лучших географов того времени.

Недаром академик Ольденбург в своей записке об истории Академии весьма тонко замечает: «Если сравнить характер работы Академии при ее основании и в первое время ее существования, то нас поразит, как велико сходство этой работы с той, которую делает Академия теперь, особенно со времени революции. Причина этого понятна. Если обратить внимание на то, что и тогда и теперь страна переживала громадные перемены: в начале XVIII-го века Россия начала входить в состав европейских стран своею культурою и цивилизацией, теперь наш Союз вступил в совершенно новую жизнь уже в мировом масштабе, объединяя в себе Запад и Восток. И в тот и другой период от науки вообще и от Академии в частности требовалось и требуется напряженное объединение теории и практики. В XVIII-м веке требовалось усиленное изучение страны для познания ее природных богатств и ее потребностей, в XX-м веке, особенно после революции, идет более углубленное изучение производительных сил страны и в этом изучении Академия проявила особенную деятельность через специально при ней организованную в 1925 году «Комиссию для изучения естественных производительных сил» (КЕПС), которую произведена большая исследовательская и учетная работа и напечатан ряд сборников и монографий, получивших широкое распространение в Союзе и вызвавших ряд подобного же рода обследований и учетов в разных частях СССР».

Я не имею здесь ни намерения ни возможности излагать историю Академии, она и не написана до сих пор, хотя имеется шесть томов, повидимому, интереснейших материалов к ее истории. Как ученое общество Академия в свою историю включает прежде всего историю всех научных работ и открытий. Она может быть выполнена только коллективно и надо думать, что эта работа не заставит себя долго ждать.

В последующие эпохи, в XIX веке и в начале XX-го Академия крепла. Она окончательно превратилась в Российскую Академию, перестала в какой-нибудь мере быть ввозной, но зато завязала крепкие и благотворные отношения с европейскою наукою. Она постепенно разрасталась и от нее отпочковывались чрезвычайно важные учреждения, не говоря уже о Первом Российском Университете. В ней зародились и с нею до сих пор связаны, например, Пулковская Астрономическая Обсерватория, Главная Геофизическая Обсерватория, при ней имеются многочисленные лаборатории, из которых две превратились в сложнейшие и богатейшие Институты—Физико-геологический и Химический. Она развернула ряд академических музеев по минералогии, геологии, по ботанике,

этнографии и т. д. Она издала за 200 лет более 15.000 томов, в том числе словарь русского языка. Она заняла среди других Академий мира почетное место.

Но бросается в глаза, что насколько богата ее объективно-научная работа, при этом не только абстрактная, но часто и практическая, настолько же бледна, немощна, настолько же отсутствует, можно сказать, общественная жизнь Академии.

Правда ли, что наука должна жить, как затворница, что она должна, как великое древо, приносить свои плоды, совершенно не заботясь о том, какие животные пожрут их у ее корней? Самодержавие, которое временами остервенялось на университеты и на прессу и доходило до умопомрачений, представителем которого был, например, круглый мерзавец Магницкий, — несколько осторожничало с Академией. Осторожничала и Академия. Она чуралась, как огня, постановки всякого вопроса, который мог бы возбудить малейшее ревнивое чувство самодержавия. Академики усердно заседали вместе с князьями Дундуками, иногда под их тяжелым задом, занимавшим академические кресла. Они ушивались своей научной работой и как бы закрывали глаза на окружающее. Я не сомневаюсь в возможности доказать, что такое омертвление общественных чувств и мыслей Академии Наук, продолжавшееся почти во все время ее существования, не могло не омертвить в некоторой степени ее научную мысль. Но я, конечно, далек от мнения, чтобы научная мысль Академии вследствие этого была лишена ценности. Наоборот, за пределами досягаемости для полиции, в области чистой науки и в области объективного, как фотография, географического и этнографического исследования, Академия делала гигантское дело. Косвенно это имело и общественное значение, ибо без постоянного очага академической мысли лишено было бы станового хребта русское естествознание.

Мы все знаем пути русской мысли. Без расцвета русской Академической науки бедны были бы русские университеты, влияние которых на русскую общественность через профессию и в особенности студенчество никто не решится отрицать. Но все это делалось помимо Академии. Можно сказать, что Академия имела благотворное влияние на русскую революцию постольку же, поскольку имело на нее самое солнце. Она светила, она согревала, не заботясь о том, что из всего этого произрастет и прорастет, оставаясь вечно на небе и сторонясь земного.

То настроение, которое после 1825-го года так трагически отразилось на величайшем человеке той эпохи, Пушкине, в значительной степени служит пояснением и для внутреннего психологического склада русского академика.

Когда Пушкин, закованный и изувеченный самодержавием, решил, что все-таки надо жить, он прежде всего попытался примириться с самодержавием. Это ему не вполне удалось. Каждая попытка к дифирамбу в его устах была фальшивой и жгла их. Даже его сословная помещицья близость к самодержавию помогала мало. Но к услугам была другая теория, так великолепно раз'ясненная в Пушкине Плетховым, теория плодотворного, великолепного и возвышенного бегства от тяжелой действительности в область чистого искусства. И что же? Разве Пушкин 30-х годов не создал в этой области великого? Разве не близки мы к мысли, что, быть может, тут была большая удача для русско го народа? Ведь та широта, то вдумчивое спокойствие, та печальная любовь, которыми проникнуты произведения душевно изувеченного поэта, из раны своей

рождавшего жемчужины, представляют собою крупнейшие ценности. Недаром говорит Маркс, что не всегда рост общественности или даже экономического фундамента ее совпадает с наивысшими волнами искусства. Бурная жизнь кое в чем противоположна искусству. Искусство всегда включает в себя известного рода мечты. Кто живет искусством,— тот всегда отнимает что-то у непосредственной действительности. Вот почему эпохи, когда нет другого исхода, кроме искусства, при прочих мал-мальски благоприятных условиях, могут создавать замечательный расцвет его, потом с известными оговорками, пройдя сквозь известные призмы, способные служить животворящим фактором более активных, но менее эстетических эпох.

Я, конечно, не думаю, чтобы деловой переход к коммунизму, который мы сейчас переживаем, заставил нас недооценить важность так называемой чистой науки, и не потому, конечно, чтобы мы склонны были верить в ее самодовлеющий священный алтарь, а потому, что мы знаем, как самые далекие, но логические и экспериментально правильные исследования, неожиданно для своих творцов и критиков, бросают семя на землю и дают прекраснейшие плоды. Но тем не менее мы ведь замечаем опасения наших ученых, как бы они, давши палец жадной практике нашего времени, не оказались бы во власти ее и всей рукой по плечо, а может быть, и всем телом.

Немного странно видеть человека, который среди извести и кирпича, под стук топоров возводимого здания, задумчиво преследует в каком-то углу, ход своих, совершенно не связанных с моментом мыслей.

Самодержавие окружило Академию кругом и сказала: за пределы этого круга выступать не смей, общественность для тебя табу. Ты жрец и не смей брать метлу для того, чтобы выметать из избы грязный сор. Самодержавие имело все основания бояться такой метлы. Ты рожден для чистой науки. И академики глубоко верили в это. Если бы они не верили в это, они были бы несчастнейшими людьми. При всем величии науки они еще преувеличивали ее значение. Они делали ее настоящей целью всего своего бытия. Они готовы были как угодно общественно охолостить себя, одеть какие угодно мундиры, помолчать, покривить душой, поподличать, но зато, войдя в тишь своего кабинета, почувствовать на своем челе поцелуй истины.

Это сознание несомненно способствовало научному развитию. Наука развивалась аристократично, довлея себе. И тем не менее рассеивала вокруг себя лучи света, ибо не светить она не может. Повторяю, омертвление некоторых суставов, какое-то искажение образа истины от этого ее плена не могло не получиться, но некоторые органы ее могли даже расцвести в этих условиях особенно пышно.

Нельзя не отметить здесь одной стороны работы Академии, которая как бы невольно составляла исключение в общем порядке ее работы.

Самодержавие было преисполнено националистического духа, желало разделять и властвовать. Оно отравляло сознание великороссов, убеждая их в том, что они народ—владыка, а остальные народы— народы подданные. Конечно и Академия вынуждена была официально принять такой чисто российский, проще говоря, великорусский характер. Однако, самодержавие должно же было знать эти подданные народы, и Академии дозволено было изучать их. Академия занялась этим со всем присущим ей научным рвением. Она изучала язык, быт, нравы, мышление множества племен, населявших царскую тюрьму,

и изучала их настолько внимательно, что создала тем громадные предпосылки не только для краеведения вообще, которое всегда составляло сильную сторону Академии, но и для правильной этнологии, долженствующей быть положенной в основу нашей новой советской политики.

Отдавая должное каждой национальности, входящей в состав нашего Союза, мы не можем, тем не менее, не отметить особенной важности наций восточных, и бо они являются в мировом отношении неизмеримо важной скрепой между европейским пролетариатом и внеевропейскими колониальными и полуколониальными народами. И вот здесь Академия имеет замечательные заслуги. Ее азиатский музей является естественным и необходимым орудием той новой государственной политики, которую ведет рабоче-крестьянская власть. Ее санскритский словарь до сих пор еще занимает первое место. Такое же место занимает ее словарь языков тюркских народов, словарь грузино-русско-французский и целый ряд других ее собственных изданий, как равно и изумительная библиотека, изумительная типография, обладающая шрифтами всех языков,—все это составляет настоящее богатство, готовый и совершенный аппарат для нашего строительства братской жизни десятков национальностей.

Из всего вышесказанного видно, что хотя Академия и была затворницей и жила, так сказать, в терему у самодержавного Коцея, но, тем не менее, являлась весьма живой силой.

И вот пришла наконец революция. К революции буржуазной, февральской, Академия отнеслась дружелюбно, и в этом нет ничего удивительного, может быть, среди академиков и были какие-нибудь чудачки православно самодержавных воззрений, но большинство состояло из объективных ученых, которые в общем предпочитали Европу России, довольно легко мирились с самодержавием, но без сожаления с ним расстались. Они ожидали лучшего. Левое меньшинство Академии состояло из настоящих либералов, из кадетов и кадетствующих. Февральскую революцию они восприняли, как свою.

Еще в первый период войны Академия создала так называемый КЕБС, Комитет по изучению естественных богатств России. Она, конечно, еще с большей готовностью согласилась служить научным помощником в деле продолжения войны при новом ее Миллюковско-Керенском обороте. Но в недрах зажившегося самодержавия созрела не только буржуазная революция, но и революция пролетарская. Она последовала скоро за своим немощным предшественником и пожрала его.

Мы знаем, что научный мир в общем и целом отнесся к новой революции, как к неожиданному и нелепому происшествию. Подобная небывалая буря, обрушившая к тому же на голову каждого ученого и в области частного быта и в научной колоссальное количество неудобств,—вызвала недовольство и ропот в самых широких научных кругах. Многие надеялись, что это наводнение пройдет быстро. Иные ученые становились жертвою политической близорукости либеральных партий, к которым они принадлежали и надежд на западно-европейскую буржуазию, которую они привыкли уважать. Глубочайшая оторванность от общественной жизни, в которой существовала ученая каста, делала для многих из них совершенно непонятным то, что происходило вокруг, и болезненно било по нервам. Я недостаточно знаком со внутренней жизнью Академии, чтобы сказать, чьей заслугой было то, что Академия Наук, в общем

и целом, как учреждение, как большинство ее состава, сумела поставить себя совершенно иначе.

В начале 1918 года, только что оглядевшись в стенах недавно занятого нами Министерства Просвещения в Чернышевском переулке, я решил выяснить отношение к нам Академии среди всеобщих бушевавших волн злобного бойкота. Я запросил Академию, какое участие она собирается принять в нашей культурно-просветительной работе и что может она дать в связи с мобилизацией науки для нужд государственного строительства, которую считает необходимой произвести новое правительство.

Российская Академия Наук, за подписью своего президента Карпинского и своего неперменного секретаря Ольденбурга, ответила мне буквально, что: «она всегда готова по требованию жизни и государства на посильную научную теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром». Я знаю, что Академию обвиняли в своеобразной мимикрии, в своеобразной самобронировке. Раз Академии приходилось жить в «зверином царстве», что же ей, умной, многоопытной, оставалось делать, как не приобрести сейчас же защитный цвет и не заявить, что мы-де, объективные ученые, посильно служим жизни, какие бы она превращения ни переживала и признаем всякое государство. Разве не так когда-то казтовая интеллигенция церкви заявляла, что «нести власти еще не от бога»?

В то же время Академия, говорят некоторые ее противники, забронировалась за своим старым уставом, подаренным ей царскими временами, и за своим новым уставом, который она стала вырабатывать, и всемерно отсиживалась в автономии, что попытались сделать и другие ученые и высшие учебные заведения. Наркомпрос РСФСР также получил свою долю репримандов. Вот-де автономии высших учебных заведений вы не допустили и хорошо сделали, но ученые общества, в особенности же Российская Академия, сохранили свою автономию. Это государство в государстве.

Но я спрашиваю, могла ли быть у Академии и у нас более разумная политика? Чего могли мы требовать от Академии? Чтобы она внезапно всем скопом превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрестилась марксистски и, положив руку на «Капитал», поклялась, что она ортодоксальнейшая большевичка? Я думаю, что вряд ли мы пережили бы такое событие без известного чувства гадливости. Ведь искренним подобное превращение быть не могло. Быть может, оно и придет со временем и путем постепенной замены прежнего поколения новым и путем замечаемого нами процесса сживленного осмоса, оживленного проникновения сквозь мнимую броню Академии соков новой общественности. Но при каких условиях этот процесс может благополучно завершиться?

Только при условиях доброго соседства. Академия выразила такое пожелание. Отсиживалась ли Академия? Была ли она для нас бесплодной?

Это я решительно отрицаю. Мы взяли у Академии новое правописание; мы использовали результаты работ ее комиссии по реформе календаря; мы получили много интереснейших сведений от ее КЕПСА; мы опирались на нее в переговорах с соседними державами о мире; она создала по нашему заказу точнейшие этнографические карты Белоруссии и Бессарабии. Мы получили мощную поддержку ее при введении грамотности на материнском языке для

национальностей, не имевших письменности, или имевших письменность зародышевую. И было бы трудно перечислить все те мелкие услуги, которые Академия оказала Наркомпросу, ВСНХ, Госплану и т. п.

Конечно полного соответствия между работами Академии и между характером работ государства еще нет, но ведь для этого нужно время.

Или Наркомпрос должен был, видя, что Академия мешкает креститься в новую веру, крестить ее, как Добрыня, огнем мечем? Но я надеюсь, что А. И. Рыков не сочтет меня нескромным, если я повторю приведенные им слова В. И. Ленина, на которые он сослался при обсуждении одного вопроса, связанного с Академией: «Не надо давать некоторым коммунистам-фанатикам с'есть Академию».

Да, В. И. Ленин не только не расходился в этом вопросе с Наркомпросом, но очень часто заходил дальше, и я прекрасно помню две-три беседы, в которых он буквально предостерегал меня, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии. Один очень уважаемый молодой коммунист и астроном придумал чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень красиво. Предварительным условием являлось, конечно, сломать существующее здание на предмет сооружения образцового академического града. В. И. Ленин очень обеспокоился, вызвал меня и спросил: «Вы хотите реформировать Академию? У вас там какие-то планы на этот счет пишут?»

Я ответил: «Академию необходимо приспособить к обще-государственной и общественной жизни, нельзя оставить ее каким-то государством в государстве. Мы должны ее ближе подтянуть к себе, знать, что она делает, и давать ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы несвоевременны и серьезного значения мы им не придаем».

Несколько успокоенный Ильич ответил: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а это важный общегосударственный вопрос. Тут нужна осторожность, такт, и большие знания, а пока мы заняты более проклятыми вопросами. Найдется у вас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскивать».

Этот наказ В. И. я запомнил в обеих его частях и в части угрозы взыскать с тех, кто перебьет академическую посуду, и в той части, что придет время, когда этот «важный государственный вопрос» будет урегулирован со всей силой мысли нашей великой партии.

Я не думаю, чтобы пришли уже сроки, и что в связи с вступлением Академии в третье столетие можно было бы ребром ставить вопрос о какой-нибудь коренной советизации ее. Но вопрос этот не за горами, решен он будет, конечно, дружелюбно, считаясь со всеми хорошими традициями Академии, с сохранением всего уважения, которое мы питаем к ней не только за ее блестящее научное прошлое, но которое завоевали у нас многие ее представители, постоянно сносящиеся с нами и сделавшиеся в наших глазах крупными, достоуважаемыми фигурами в нашей культурной кампании.

Во всяком случае в третье столетие Академия вступит как Всесоюзная.

Я должен сказать несколько слов по этому поводу. Наркомпрос РСФСР всегда добивался этого. Мы категорически стоим на той точке зрения, что ставить какие-нибудь преграды всесоюзности нашей науки невозможно. Мы вообще не склонны, конечно, ставить какие-нибудь преграды и всемирному размаху науки, но мы вполне допускаем мысль, что некоторая разница под-

хода ко всем научным проблемам постепенно выяснится, если два мира—Социалистический Союз и буржуазный хаос—просуществуют еще некоторое время рядом. Но внутри Союза мы, конечно, должны способствовать тому, чтобы никаких перегородок не существовало для науки, чтобы не было построено никакой таможенной системы, чтобы не проявлялось никакого партикуляризма. Значит ли это, что хотя бы в малейшей степени Наркомпрос РСФСР посягает на развитие отдельных национальностей, что он хотя бы в малейшей степени антипатично относится к стремлению эту единую науку мощно строить среди любой национальности и по возможности на всех языках нашего многоязычного союза? Означает ли это, что Наркомпрос под видом защиты всесоюзного характера научной мысли стремится к какой-то гегемонии, к какому-то нарушению прав других комиссариатов народного просвещения? К сожалению, такое обидное и грубое понимание нашей позиции было высказано с некоторых сторон. Мы рады, что оно не помешало провозглашению Академии Всесоюзной. Правительство обратит внимание Академии на то, что прошли те времена, когда на нашей родине была правящая нация, когда нужно было обслуживать прежде всего ее, когда она выдавалась дворянско-буржуазным самодержавием за творящий субъект истории, а другие нации за подлежащий ее обработке и ее эксплуатации объект. Советское правительство укажет, что одной из важнейших обязанностей Академии является разливать свет знаний и культуры повсюду и прежде всего в самые темные углы страны, что она должна протянуть руку прежде всего отсталым нациям, что для ученых не великорусских не только может, но и должно найтись место в ее креслах. Российская Академия Наук упорно добивалась признания ее Всесоюзной. Она исходила при этом из чисто научных соображений. Она знала, сколько задач имеется у нее, которые необходимо должны быть распространены и в научном отношении, урегулированы из единого общесоюзного центра. Теперь ее удостоили этого звания, это накладывает на нее новые обязанности.

В одной из своих записок непреходящий секретарь Академии С. Ф. Ольденбург пишет: «Академия вступает в третье столетие своего существования с твердой уверенностью, что она сможет еще более расширить и углубить свою работу во всесоюзном и мировом масштабе».

Никто не посягнет на работу Академии в области так называемой чистой науки, но конечно чем дальше, тем больше наше строительство будет вовлекать ее в свой мощный круговорот.

Ее бесценный научный аппарат, ее талантливый научный персонал—должны будут выполнять целый ряд важнейших практических задач действительно общесоюзного и даже мирового масштаба.

Затворница самодержавия освобождена. Быть может, многим академикам кажется, что это вовсе не свобода. Им привольно жилось в их золоченой клетке. Да, пожалуй, это не есть метафизическая свобода, которой, впрочем, и вообще-то не существует. Наша свобода есть освобождение от религиозных и буржуазных предрассудков, наша свобода есть освобождение от всяких мелочных пут классового, сословного национального характера. Недаром Лассаль говорил об естественном союзе ученого и рабочего. Нам нужна могучая и говорящая правду наука, а науке нужно государство или общество, способное полностью выполнять продиктованные подлинным знанием действительности

принципы. Но воздухом этой свободы может дышать только здоровая грудь. Для иных эта атмосфера может показаться ядом.

Ведь буржуазным ученым так легко удалось связать свою науку и с религией от формального православия до всяких утонченных эссенций религиозно-философского порядка, ведь они так легко скользнули в розовую пропасть идеалистического миропонимания и всякого рода формализма. Ведь они так удобно покачивались в качалках всяких буржуазных софизмов, которые, защищая неравенства буржуазного строя, косвенно защищали и их привилегии! Все те, кто сроднился с такими уклонами, почувствуют, что они разбиты в щепки и свободная наука пожрет их огнем своего истинно демократического и глубоко материалистического существа. Она всенародна, всечеловечна и поэтому не может не дружить с ведущим ко всечеловечности пролетариатом. Она ненавидит всякую ложь, всякие пережитки старины, она мужественно провозглашает всю истину целиком, как она вытекает из правильного эксперимента и чистой мысли. Академия Наук сумела сказать новой стихии с самого ее появления: «Я не противоречу тебе, я постараюсь жить с тобой, я постараюсь быть полезной тебе. Ты же, со своей стороны, пощади меня, отнесись ко мне с тактом; как только позволят тебе обстоятельства— позаботься обо мне, сохрани мои научные ресурсы, умножь их, как только сможешь. Тогда мы постепенно сольемся, мы обменяемся нашими дарами. Ты вошьшь в меня твое мужество, твою энергию, ты вошьшь в меня новые силы, новых Ломоносовых, которых породят нам фабрики и деревня. Я дам тебе бесчисленные сокровища знаний, я разрешу многие из задач, которые станут перед тобой, я помогу тебе организовать научные силы вокруг твоей борьбы». Вот что сказала Академия Советской Власти, которая ответила «All right! попробуем».

До сих пор мы не раскаялись в этой пробе и думаем, что не раскаемся и впредь.

А. Луначарский.

Роман современной Франции.

Проф. Р. Куллэ.

Если присмотреться внимательно к современной художественной литературе во Франции, ко всем этим бесчисленным романам, к которым французы имеют особое пристрастие, как к форме единственно вмещающей все психологические и бытовые наблюдения писателя, то мы можем обнаружить решительно во всех произведениях этого жанра одну общую им всем черту социального порядка, сводящуюся в простом определении к тому, что мы вправе называть наблюдениями над процессом ликвидации империалистической войны, в переживании и настроениях отдельных классовых групп Франции.

Классовые соотношения за последнее десятилетие значительно перестроились в результате весьма тягостно пережитой войны и последовавшего за ней общего кризиса страны не только в промышленно-экономическом отношении, как таковом, но и в его следствиях, сказавшихся на всех видах оформляющегося после большой встряски сознания.

Художественная литература, конечно, не избежала этой общей стихийной участи и в доступных ей формах и всеми имеющимися у нее средствами отражает движение этого процесса, преломляющегося через призму классового сознания ее представителей. Даже в том случае, когда автор намеренно отмежевывается в своей тематике от современности, когда он, как Пьер Бенуа, уходит в «века загадочно былые», мы в этом самом факте ухода от современности вправе видеть вполне определенное отношение к ней так же, как мы его видим в истории литературы всякий раз, когда начинает культивироваться экзотика тем или реакционная романтика «исторических» романов.

Современный французский роман в отношении его общей тематики и в лице отдельных его представителей значительно продвинулся вперед от тех позиций, которые он занимал до войны, и в этом своем движении весьма обязан Анри Барбюссу, едва ли не первому по времени автору, сумевшему сказать большое и грозное слово правды об этой бессмысленной бойне во имя интересов капиталистов, которая жертвой миллионов пролетариев и крестьян внесла, с одной стороны, просветление в сознание угнетенных классов, а с другой—заставила плотнее сомкнуться ряды потрясенной страхом буржуазии, не ожидавшей такого эффекта от казавшегося

еще так недавно «неизбежным» и «благодетельным» для ее интересов столкновения на «поле брани» конкурентов мирового рынка.

Однако, в целом, линия современного французского романа протягивается через громадное число произведений и имеет свой центр, правый и левый фланги, определяемые не признаком политической ориентации, а отношением к устойчивой и типической литературной традиции жанра.

Правый фланг и центр французской литературы сегодняшнего дня окопались в траншеях старинной литературной традиции психологического романа, либо вовсе уходя от современной тематики (что, впрочем, редкое явление,) либо направляя все внимание на процессы переживания и настроений внутри буржуазной среды, несколько видоизменившей свой облик по сравнению с довоенной эпохой, как в смысле своего состава, так и в смысле своего общего мироощущения. Включив в свои ряды серию новых «выскочек», нажившихся на войне спекулянтов, французская буржуазия, естественно, производит смотр своих сил по степени их «культурной потенции» и устами авторов бытовых романов произносит суд на основании сделанных наблюдений. Читатель во всяком случае знакомится со всеми новшествами, происшедшими во внутреннем строении общества, узнает о его качественном и количественном составе и погружается в «глубины» эмоциональных переживаний героев и героинь нового времени по поводу больших и малых событий их частной и общественной жизни. Так же прочно установившаяся манера буржуазных бытописателей-романистов, находившая свое выражение в продолжении традиции Гонкуров, Дюда, Золя, Мопассана и др. образцовых писателей и тысячами романов рисовавшая психологию действующих лиц в их любовных по преимуществу ситуациях, в настоящее время культивируется с неменьшим рвением, и если в ней что и изменилось, то лишь в формах языка, решительно двинувшегося по пути модернизации впитыванием теологизмов и выражений парижского жаргона (*argot*), да в ряде приемов мотивировки действия и характеров выводимых персонажей. Этих влияний правый фланг уж никак не мог избежать, ими отдается дань современности. Остальное все охраняется по возможности. Графы, виконты, бароны, банкиры и рантье шумной толпой накладываются страницами романов, рассказывающих о жизни, интересах и приключениях этих героев так, как будто, кроме буржуазии и обломков феодальной аристократии, во Франции других классов и нет и не бывало.

И заметьте, такие романы правого литературного фланга выходят далеко не одним изданием, они находят читателей, они опираются на значительную группу потребителей. Буржуазные нязы попрежнему, повидимому, зачитываются описаниями роскоши, особнячков, отдельных кабинетов, загородных вилл и скучной канители любовных и ресторанных приключений титулованных и просто бряцающих золотом действующих лиц. Романтическая мелодрама еще, видимо, не паскучила и всегда найдется мелкобуржуазная Марго, готовая захлебываться от восторга и умиления при чтении бойко написанных страниц.

Этому спросу читателей-мещанина и отвечают весьма многие современные писатели, сколачивающие свои произведения на основе старой

литературной традиции психологического бытового и авантюрного романа, расщепляя их эпизодами из современности, лежащей в плоскости послевоенной обстановки жизни буржуазного общества, и сдвигивая порою свой рассказ крепким настроем бульварного жаргона.

Число пишущих в этом стиле и направлении так велико, что одно перечисление их имен заняло бы незаслуженно много места.

Серые однообразные страницы утомительно мелькают, роняя вереницы эпизодов, скучно рассказанных, о бесконечных любовных интригах, военных подвигах патриотизма, госпитальных дамах-сестрах и финансовых операциях жадных буржуа. Порой мелькнет забавная сценка, реже встретится интересно задуманное и выполненное целое.

Тематически, однако, все такие романы связаны с войной и послевоенным периодом. Сущность же их весьма однообразна, и читатель едва ли запомнит, кто именно—Женевьева Дюамеле или Жорж Дежан, Марсель Надо или Пьер Сабатье—рассказывал о «Незамужних» или об «Исповеди легионера», о «Последних мушкетерах», или о «Возмутившихся», или о «Дамах из госпиталя № 336»...

Известное и пользующееся популярностью имя Фаррера стоит на произведении такого же типа, носящем заглавие «Остров с большим колодезем» (L'île au grand puits) и рисующем знакомую уже в общих чертах вырождающуюся родовую аристократию с привхождением в нее представителей английской знати. Любовные приключения на пустынном острове, куда на яхте кутящие бездельники отправились поразвлечься и вдруг оказались покинутыми почему-то ушедшей с рейда яхтой, сменяются разговорами, затрагивающими порою и современные темы, конечно, в буржуазно-обывательском освещении—напр., ирландский вопрос.

Но это только между прочим, главное автор видит все-таки в психологическом анализе эротических эмоций. От этого соображения современный французский писатель отделиться не может, создавая непрерывно все новые и новые комбинации условий и обстановки, на фоне которых он с особым успехом мог бы развернуть пеструю ткань любовных переживаний, обличая порою весьма противоречивые мотивы и не остававшаяся перед риском воскресить в памяти читателя старика Робинзона в искаженной перспективе и окруженного блондинками и брюнетками, дерущимся за любовь, «прекрасного искателя приключений», как сделал это Фаррер.

Средняя линия фронта современного французского романа также весьма богата произведениями, пропитанными теми же описаниями послевоенного быта и нравов Франции, но в них можно заметить не только новую, более гибкую тематику, но—что гораздо важнее—перенесение центра внимания на другую среду. Правда, большинство произведений этого вида построено на параллелизме движущихся бытовых картин, что, как прием, не заслуживает, конечно, осуждения, так как к нему прибегали все большие писатели, но беда в том, что в таких параллельных плоскостях отчетливо осознаваны те стороны, которые рисуют буржуазную среду со всеми ее интересами и тенденциями; что же касается художественных

представителей других классов—пролетариата и крестьянства,—поскольку таковые встречаются, то авторы их трактуют под углом зрения своего буржуазного сознания, что, конечно, понятно, но не дает правильного облика в глазах читателя, который может в самом деле подумать, что рабочие и крестьяне в современной Франции не слишком далеко ушли от тех художественных своих представителей, с которыми нас знакомели еще Золя и Мопассан.

Невозможно, конечно, требовать перевоплощения классового сознания писателей, но можно и должно предъявлять права на незаинтересованное изучение той среды, которую автор собирается описывать, а при описании ее ему следует отказаться от взгляда сверху вниз, одобренного чувствами снисходительной симпатии к своим героям из «низов», не нуждающихся в такой дружественной рекомандации. К сожалению, от этого не всегда свободны даже такие писатели, как Пьер Амц, Бенжамен Боллон и Клеман Вогель.

Важнее, однако, то обстоятельство, что бесшумно длинная цепь веселящихся, порхающих из будуара в будуара и обратно бездельников, находивших в течение ряда лет приют на страницах среднего эпического романа Франции, постепенно вытесняется иными представителями, достаточно явственно заявившими о своем существовании и о праве на внимание к себе не только стопами умиравших под грохот орудий на печальных полях сражений, но и голосом класса, держащего в своих руках основные элементы жизни страны, до сих пор лишь изредка уделявшей внимание на экране художественной литературы этим коренным строителям жизни и будущего.

Читатели французской беллетристики последних двух десятилетий неотступно осаждались толпой скучающих и пресыщенных благами жизни буржуазных рантье всех калибров и ничего не знали о том тяжелом, мучительном труде, который незримо для них совершался в стране и платал все ее проявления соками своих жертв, не допускавшихся дальше конторы промышленного предприятия или прихожей деревенской мэрии. Если же трудящийся становился нужен для декорации романа, он немедленно переодевался в костюм опереточного пейзажа или «услужующего» — кучера, дворежника, лакея у богатого барина, которому он «без лести предаг»...

В романах Пьера Амца труд заговорил, наконец, если еще не своим настоящим голосом, все еще пропускаемым через буржуазный рупор с глушителем, то во всяком случае нотами своего утверждения на право внимания. «Лен» (Le lin), «Рельс» (Lerail), «Непобедимый труд» (Le travail invincible), «Искатели золота» (Les chercheurs d'or), «Победа машин» (La victoire mécanicienne)—все это романы, свидетельствующие своей тематикой о назревшем спросе читателей на освещение малоизвестных ему сторон жизни, властно о себе заявляющих каждым атомом политической и общественной атмосферы с одной стороны, и о сдвиге социальных соотношений, явившихся в результате убийственной войны—с другой.

Чуткий и впечатлительный писатель не может обойти молчанием этого сдвига, сказывающегося решительно во всех областях жизни переоценкой потускневших ценностей достаточно отстоявшейся уже буржуазной культуры, особенно в такой стране, где черты национального характера народа не однажды уже откладывались отчетливыми линиями в богатой художественной литературе.

Французский роман в лице своих наиболее ярких представителей в продолжение столетий свидетельствовал об особом умении писателей выражать общечеловеческое в национальной рамке, всегда, правда, инзюстратованной шакладным рисунком классовой принадлежности автора. Современные писатели так же понимают свою задачу, как национальное служение, но не замечают, что их кисть сильно прихватывает тона их класса. Отсюда—своеобразная трактовка сюжета—самого современного, самого актуального, но освещаемого все-таки лучами определенного группового сознания. И Пьер Ампр не свободен от этого бокового света при всей его добросовестности, наблюдательности и любви к персонажам своего творчества.

Создавая, на подобие Бальзака, давшего в своей «Человеческой комедии» широкую картину жизни, быта и психологии французского буржуазного общества времен промышленного капитализма, новую серию романов из жизни современной Франции в ее перекрещивающихся общественных отношениях послевоенного быта, Ампр видит общий стержень, объединяющий всю серию, в страданиях—не в борьбе—трудящихся своей родины. Не случайно, конечно, он дает и общее название всей серии: «Страдание людей» (*La reine des hommes*); в страданиях и муках проходит жизнь тех, которые создают ее ценности, а сами ничего не имеют от творимых богатств...

Ценою страданий же искупает и честный деревенский поп Пеллегрен в романе К. Вотея «Наш священник у богатых» (*Les curé chez les riches*) свою преданность интересам крестьян-прихожан и отказ от служения амбициозным стремлениям разжиревшего на военных поставках спекулянта, шощлого и подлого выскочки Кузине, сумевшего спеться с местным епархиальным епископом, весьма ярко очерченным типом продажного чиновника католической церкви, преследующим Пеллегрена за его «грубость», за близость к бедным и рабочим округи и за то, что этот деревенский поп, прошедший всю войну в окопах вместе с солдатами армии в качестве носильщика раненых, вынес с полей сражений своеобразное понимание религии, весьма далекое от официального и желательного для господствующих классов. Путь Пеллегрена к разрыву с казенной религией лежит через бесчисленные маленькие страдания его самого и его прихожан, крестьян, рабочих и инвалидов войны, тогда как рядом—в параллельных плоскостях рисуется развратная и пошлая жизнь торжествующих в своих тусклых стремлениях представителей мещанства и иезуитства.

Еще обнаженнее выступает страдание в романе Бенжамена Воллота «Ощущью» (*A tâtons*). Страницы, посвященные страданиям несчастных слепцов-инвалидов войны, отдавших за чужие интересы в империалистической войне драгоценнейший дар природы—зрение, написан-

ны с необыкновенной силой и обнаруживают не только талант автора, но и редкую силу художественной эмоции, которой он умеет подчинить своего читателя. Это один из тех романов, над которыми плачут, что в наше время—далеко не сантиментальное—редко бывает. Не еще решительнее подымается в читателе глухая волна протеста и ненависти к алчным и бесстыдным организаторам кровавой бойни, приведшей миллионы здоровых, сильных и жаждущих жизни людей под убийственный огонь и отравленные газы во имя обогащения жутки наглых грабителей мирового рынка.

Те, кто не был убит, были искалечены, слепцы попали в убежище для слепых, где живут и работают ошупью. Позади—разбитые надежды, исчезнувшая, как тень, возможность личной жизни, счастья в труде и любви с любимой девушкой, которую тот же процесс, что жениха привел к слепоте, бросил в объятия разврата; а впереди... потемки, вечные потемки, прозябание ошупью и бесконечное издевательство «патронов», оскорбляющих своими «заботами» несчастных призреваемых, получающих от щедрот покровителей прошевую сигару, которую изуродованные культишки и держать-то не могут.

Омерзительно и подло все отношение к несчастным жертвам грабительских аппетитов, влачащим жалкое существование в приюте, но по существу вычеркнутым из списка живых, имеющих право на отдельное место в жизни. Эта сотня калеки убежища—люди конченные в 25—30 лет... Почему? За что? По какому праву? Капиталистический Молох, не спрашивая, раздавил их без жалости и внимания и бросил в убогий приют под «защиту и пощечину общества», которому они даже в своем убожестве должны быть полезны незатейливым трудом шоравничиков, плетельщиков, кустарей-слепцов.

Они не протестуют явно, не устраивают бунта в убежище, но, теряя физическое зрение, начинают прозревать духовно, понимая подлинные причины своего несчастья, и пока еще отделяются насмешками, презрением людей, знающих больше, чем стоит об этом говорить, и на все отвечают французским скепсисом в формах галльского юмора.

Однако, не все ушли с войны слепыми и калеками.

Были и такие, которые крепкую думу продумали в траншеях под свист пуль и грохот орудий и покинули поля сражений значительно прозревшими без потери зрения, но с готовым планом в голове. Дома, на развалинах очагов и семейств, они нашли ту формулу для своей думы, выраженную словами героя романа Андре Обэ «Саврэ-Победитель» (Savreux-vainqueur): «после **такой войны** нельзя вернуться к прежней жизни»...

И Саврэ становится предводителем отряда землекопов, организует нападения и грабежи, угрожает «священной собственности» испуганных до паники буржуа, бессильных справиться с ним традиционными мерами полиции. Конечно, он оценивается только, как «грабитель», а его отряд—только «банда» в глазах господствующей власти, но важно ведь то, что и в такую острую форму классовой ненависти вылился какой-то своей частью процесс ликвидации войны и что это явление современной действительности нашло художественное выражение, пусть в формах аван-

тиорного романа с типической подрисовкой черт героя в стиле неизбежного романтизма этого жанра, но не обойденное молчанием, как весьма симптоматический показатель обострившихся классовых отношений.

Мы ограничимся группой перечисленных авторов и их произведений для характеристики центральной позиции современного французского романа, куда мы, конечно, должны отнести и тех авторов, художественные интересы которых сосредоточены на наблюдениях в области самых разнообразных сторон общественной жизни буржуазной Франции, переживающей значительную перестройку и во внутрисоциальных отношениях.

В частности, роман В. Маргерита «Товарищ» (Le compagnon) и нашумевшая «Моника Лертье» (La garçonne) свидетельствуют о том, что новая женщина не только родилась во Франции, но и осознала себя в своих взаимоотношениях с обществом и миром.

Она едва ли боится в том, что наблюдавший ее романист главное свое внимание направил по поводу старого вопроса половых отношений, с которых, в сущности, женский протест и начинается самым законным образом. «Куколка», забавная игрушка в руках мужчины, или просто профессиональная любовница развращенного общества должна уступить место женщине-человеку, равной в труде, интересах, стремлениях и достоинстве мужчине. Процесс такого перевыполнения женщины длителен и тесно связан с коренной перестройкой всего социального уклада, а до тех пор, пока не произойдет во Франции эта основная перестройка, женщина будет или Анника Рембер, или Моника Лертье.

Это прекрасно понимает автор и дает в последнем своем романе «Пара» (Le couple) картину грядущей—в 1943 году, по его исчислению—революции, в результате которой переменятся взгляды на брак, образец которого он готов видеть в хороших, свободных и искренних отношениях любящей пары, составляющейся из сына Анники Рембер («Товарищ») и дочери Моника Лертье (La garçonne).

Отмеченная нами центральная группа романов одним крылом примыкает еще к каноническим формам литературной традиции со всеми ее особенностями приемов описания, психологического анализа и мотивировки, другим—выходит к левому флангу, на котором стоят новаторы не столько формы, как таковой, как понимания задач писателя и его теоретического и художественного credo.

Отсюда, конечно, простекают и новшества тематики, построения сюжета, мотивировки действия и характеров персонажей, отсюда же и большая чуткость к чисто лингвистическому материалу, стремление к модернизации языка включением в него неологизмов и форм жаргона.

Мы остановимся на одном из виднейших представителей левого крыла современной французской литературы—на Жюле Ромэне. Он—глава и создатель школы—«универсализма», принципы которой весьма несложны и могут быть сведены к такому определению: человек, личность—только часть коллектива, владеющего какой-то целостной «душой», частично отражающейся в отдельных представителях его; поэтому задача писателя должна заключаться в том, чтобы охватывать явления в их целом, в групповом их выявлении и обрисовывать индивидуальность лишь постольку, поскольку она часть целого. Следовательно, внимание рома-

ниста должно быть направлено не на психологический анализ переживаний отдельной личности, а не выражение большего сознания в ряде единиц, связанных между собой какими-то общими линиями, отыскать и определить которые и есть задача писателя, не забывая, что каждая единица дополняет другую, и целое, как сумма, должно выступить перед читателем.

Вот схема литературного рецепта.

По ней и пишет Жюль Ромэн свои романы. Однако, читатель улыбается... В самом деле, как не улыбнуться, если вспомнить, что обычно теоретики и создатели литературных рецептов, весьма сильные порой как аналитики и критики, бывают детски беспомощны и крайне бездарны, как только приступят к воплощению своих рецептов в художественные формы, упорно им не дающиеся! В памяти возникают художественные судьбы Фридриха Шлегеля с его романом «Луцинда», Сен-Бёва с его стихами и повестями, наконец, нашего Виктора Шкловского с его «Сантиментальным путешествием» и особенно «Zoo»... и начинает становиться страшно за Жюля Ромэна: тоже ведь теоретик и шеф школы и тоже пишет по своим рецептам романы... Как не смутиться?!

Отчасти для смущений и опасений есть основание, так как там, где Жюль Ромэн непременно хочет провести свою теорию в формах художественного повествования, на читателя начинает веять спертый воздух безрадостного насилия над материалом, обязанным уложиться в теоретическую схему; таково его «Могущество Парижа» (*Puissance de Paris*). Но, к счастью, Жюль Ромэн порой забывает о своих схемах, и тогда он становится занимательным рассказчиком и тонким наблюдателем. Его «Возрожденный пригород» (*Le bourg régénéré*) и особенно «Некто умер» (*La mort de quelqu'un*) могут быть названы действительно значительными произведениями по мастерству описания и отдельных персонажей, и групп людей, охваченных общей идеей, общим стремлением и делом.

Такая, в сущности, простая мысль, как та, что выражена в романе «Некто умер», может только под пером талантливого писателя получить полную и глубокую обрисовку. Умирает человек, простой, незначительный обыватель, в три дня похоронивают дело с его трупом, а в несколько больший срок стирается совсем и навсегда на земле память об умершем. Сотни миллионов людей уже жили на земле, умерли, кто может знать о них и кому это нужно? Только небольшая группа, среди которой вдруг оказался покойник, в течение трех дней занята им, наполняя 72 часа своего существования мыслями и заботами об одиноком случайном покойнике. А потом... все и навсегда. Вот обо всем этом и рассказывает Жюль Ромэн на 300 страницах.

Существенной чертой творчества Жюля Ромэна является мастерство в описании отдельных сцен, порой прекрасно схваченных и весьма часто плохо вяжущихся с целым, вопреки теории «унаимизма». Виновата ли здесь теория, или то, что Ж. Ромэн, писатель с несомненным талантом новеллиста, берется за непосильную ему большую форму: романа, тонет в ней, залуптавшись в нитях, долженствующих сдерживать все части романа в единстве, — сказать трудно, но факт тот, что небольшие новеллы, хотя

претенциозно и названные романами, ему больше удаются, чем развитые в действиях и движении вещи.

Его «Les sorains» с продолжением «Дондоо-Гонка» — только хорошо рассказанные анекдоты о небольшой группе дебоширов, каких-то людей без роду и племени, без определенных занятий и непонятной социальной принадлежности, старающихся изо всех сил выкинуть злостный трюк, начудачить в провинциальных городках, словом, проделывать то, что французы называют *épater le bourgeois* (напугать буржуа-мещанина).

Нам остается непонятной цель дебоша. Если такие истории проделывались парижскими студентами времен Франсуа Виллона (XV в.), в стиле которых действуют и безобразят герои Ж. Ромэна, мы понимаем импульсы тех «кокильеров», но на фоне современности они просто как-то не мотивированы, и невольно хочется думать, что автор, спасая теорию «унанимизма», не имеет другой цели, как показать читателю психологию группы головорезов и бездельников, соблазненных колоритными деталями вольной жизни времен давно-прошедшего средневековья. Ничего от современности в анекдоте о приключениях семи «юпанов» нет, даже фон не носит следов только что отгремевшей войны, не прошедшей же для нашего автора совсем бесследно!

Нам кажется, что Жюль Ромэн сознательно ушел в такую авантюрную повесть без общественного роду и племени, закрывшись фиговым листочком своего «унанимизма», который по своим принципам мог бы сослужить ему прекрасную службу в условиях иного, действительно социального применения.

Эти анекдоты Жюля Ромэна сближают его в факте дезертирования от действительности с Пьером Бенуа, автором «Атлантиды», «Соленого озера», «За дон-Карлоса» и «Владелицы Ливана» — последней его новинки.

Только Бенуа не создавал теорий и не пытался писать иначе, чем он это делает сейчас, а Жюль Ромэн — «шеф» школы, толкующей о «самых новых» приемах в творчестве и потому — де законно занимающий крайнюю позицию на левом фланге художественной литературы Франции сегодняшнего дня.

А у нас такое впечатление, будто весь этот литературный фронт расположен кругом и крайний левый стоит под руку с крайним правым.

Не равняется ли «унанимизм» Жюля Ромэна крайнему индивидуализму Пьера Бенуа?

ПРОФ. Р. КУЛЛЭ.

Новейшие успехи русской биологии.

Пересадка желез и животноводство.—Искусственное оплодотворение.—Луч жизни.

П. Ю. Шмидт.

I.

Н едалеко еще то время, когда единственным хозяином в организме человека и животных считался головной мозг. Казалось, что все органы наши существуют сами по себе, благодаря тому импульсу, который они получили при рождении. Каждый из них исполняет ту роль, для которой он существует, независимо от других, и единственное, что связывает и объединяет все органы в единый, цельный организм—это нервная система.

Нервы удачно сравнивали с телеграфными проводами, а головной и спинной мозг—с центральной и с промежуточными телеграфными станциями. Действительно, нервная система несет «службу связи» в организме. Она получает сигналы извне, принимает их, перерабатывает в приказы и посылает последние по назначению в те или другие органы, должностующие выполнять различные действия, важные и полезные для организма.

Одним из крупнейших завоеваний современной биологии надо считать некоторое развенчание этой исключительной роли нервной системы и признание, что существует и еще один обобщающий действительность всего организма фактор. Таким фактором со времени гениальных догадок и опытов *Броун-Секара* пришлось признать то чисто химическое воздействие, которое оказывают на ткани всего организма вещества, выделяемые особыми *железами внутренней секреции*.

Железы эти давно были известны анатомам, они были описаны и исследованы анатомически, но деятельность их казалась очень загадочной. Действительно, у обыкновенных желез, встречаемых в организме, например, у слюнных, слезных, потовых, всегда имеются протоки, по которым вырабатываемое в железе вещество выделяется наружу или в ту или иную полость. Железы внутренней секреции замкнуты и не имеют протока, но зато они обильно пронизываются кровеносными сосудами, потому их иногда называют также *кровенными железами*.

И вот, исследования целого ряда первоклассных ученых показали, что железы эти вовсе не какие-то «остаточные» (т.-е. сохранившиеся от предков),

ненужные органы, а напротив, чрезвычайно важные элементы тела—«оживители» или «строители» живого тела, как их теперь нередко называют. Оперативное удаление некоторых из них влечет за собою нередко такие расстройства в деятельности организма, что наступает немедленная смерть, в других случаях—наблюдаются тяжкие болезненные изменения. Чрезмерное развитие деятельности той или другой из этих желез тоже отражается нередко фатально на здоровье и деятельности организма.

Действие желез внутренней секреции, как было доказано прямыми опытами, сводится к выработке особых веществ, поступающих непосредственно чрез стенки сосудов в кровь. Последнюю они разносятся по всему телу, так что ни одна клетка не остается без их влияния. Если нервную систему сравнили с обыкновенным телеграфом, то действие этой *внутренней секреции* можно с полным правом сопоставить с действием беспроволочного телеграфа, который разносит по организму известия, адресованные «всем, всем, всем».

Разница, однако, заключается в том, что здесь действуют не эфирные волны, а материальные частицы, настоящие химические вещества, различные для каждой железы, но получившие общее название *гормонов* (от греч. «гормао»—раздражаю).

Несколько сильные изменения производят эти гормоны в организме, видно хотя бы из следующих примеров.

Если не развивается у человека и выделяет недостаточно своего гормона *щитовидная железа*, находящаяся около гортани, то наступает недоразвитие мозга и целого ряда других органов, ведущее к кретинизму. Все ткани и органы изменяются таким образом, что организм получает изможденный старческий вид, недоразвивается и физически, и умственно, вместо нормального человека получается жалкий кретин.

Если та же железа, наоборот, получает слишком сильное развитие и вырабатывает чрезмерное количество гормона, то мозг и нервная система перевозбуждаются, и возникает целый ряд болезненных изменений, известных под названием *Вазедовой болезни*. У таких больных, между прочим, глаза сильно выпячиваются из орбит, почему эта болезнь получила название *пучеглазия*.

Точно так же удаление желез, известных под названием *надпочечников*, ведет к немедленной смерти, вызванной общей слабостью, ослаблением деятельности сердца и сосудов. Понижение деятельности надпочечников выражается в появлении так называемой *Аддиссоновой болезни*. Она выражается в появлении бронзового цвета кожи, в наступлении сильной слабости, полного исхудания, в различных явлениях расстройства пищеварительных органов и др.

Точно так же крупные изменения производит недоразвитие или переразвитие *мозгового придатка* (гипофиза). Если у ребенка сильно развита его передняя доля, то при росте несообразно разрастаются в длину его руки и ноги,—они делаются огромными, и человек приобретает гигантский рост. Наоборот, при недоразвитии передней доли рост остается низким, а руки и ноги—миниатюрными. Усиленное действие задней доли мозгового придатка вызывает развитие и повышение деятельности почек, молочных желез и усиленное отложение жира.

Одними из наиболее важных и сильно действующих желез внутренней секреции оказались *половые железы*. Последние, как известно, выделяют прежде всего половые продукты—сменные тельца, в одном случае, и яйцевые клетки—

в другом, но, на-ряду с этим, они действуют и как «кровяные» железы и выделяют некоторые гормоны в кровь.

Выделяются ли эти «половые» гормоны особыми железами, стоящими лишь в связи с настоящими половыми, как это полагает проф. Штейнах и его последователи, или «половые» гормоны—продукт самой половой железы,— это еще вопрос спорный. Но что в кровь выделяются действительно вещества, производящие самые разнообразные действия внутри организма и сказывающиеся внешними изменениями, а также и физиологическими и даже психическими явлениями,— в этом в настоящее время, после многочисленных экспериментальных исследований, составляющих гордость современной биологии, никак нельзя сомневаться.

Впрочем, влияние половых желез на жизнедеятельность всего организма давно уже подозревалось и даже высказывалось. И на самом деле, нельзя не заметить тех колоссальных изменений, которые претерпевает организм мужчины или самца животного, когда он подвергается осклопению, т. е. удаляются половые железы и прекращается снабжение крови половыми гормонами. Утрата бороды, усов, недоразвитие мускулов и развитие подкожного жира, развитие широкого, как у женщины, таза, удлинение ног и позднее окостенение сочленений, бедность красными кровяными шариками и раннее наступление старости,— вот важнейшие изменения, которые влечет за собою у мужчины кастрация в раннем возрасте. Отсутствие гормонов, выделяемых половыми железами, влияет, следовательно, не только на недоразвитие так называемых «вторичных» половых признаков (такowymi у мужчин надо считать бороду и усы, густой голос и развитие волосяного покрова на теле), но вызывает и целый ряд других важных изменений, сказывающихся в задержках развития, в истощении и слабости.

Известны вместе с тем и обратные случаи. Наблюдались иногда случаи переразвития семенных желез в молодом возрасте вследствие каких-то болезненных явлений. В одном из таких случаев мальчик девяти лет получил полностью облик взрослого мужчины: у него выросли окладистая борода, усы и волосы на теле, образовалась сильная мускулатура, грубый голос и даже умственное развитие его было значительно выше, чем должно было бы быть в соответственном возрасте. После удаления одной из семенных желез, которая была слишком сильно развита, все эти признаки через шесть месяцев исчезли и даже умственное развитие регрессировало так, что мальчик приблизился к нормальному уровню, свойственному его возрасту.

Как, вероятно, в настоящее время известно уже каждому, благодаря множеству популярных статей и брошюр и еще более популярному фильму, и знаменитое «омоложение» старого организма, открытое проф. Штейнахом, основывается на том же действии половых гормонов на стареющие ткани и органы. Проф. Штейнах вызывал увеличение количества этих гормонов путем перевязывания семенного протока и следующей за этим атрофии семенной железы, сопровождаемой особенно сильным развитием деятельности тех клеток, которые выделяют половой гормон.

Правда, в настоящее время замечается как-будто некоторое разочарование в этом методе. Результаты Штейнаховских операций оказываются очень изменчивыми, индивидуальными и самое действие их, по мнению большинства ученых, вызывает не столько настоящее «омоложение» организма, т. е. возвра-

щение его к тому состоянию, в котором он был в молодости, сколько просто некоторую стимуляцию, подбадривание тканей. Как часто бывает в научных вопросах, по мере разработки и ознакомления, дело оказывается не столь простым, как казалось раньше,—оно усложняется и требует более детальных и продолжительных исследований.

Более, повидимому, жизнеспособным оказывается другой метод омолаживания—метод пашего работающего во Франции соотечественника, д-ра С. Вуронова. Этот метод ближе к естественным условиям, так как не связан ни с какими нарушениями обычной деятельности желез. К старой семенной железе непосредственно *прививается* молодая, взятая от другого животного, и эта молодая железа, получая питание от растающих в нее кровеносных сосудов, начинает выделять половые гормоны и вызывать деятельность также и других желез. Количество гормонов в организме увеличивается и они стимулируют всю жизнедеятельность его.

За последнее время С. Вуронов вступил на новый путь исследования действия половых гормонов и его применения,—на путь, как кажется, обещающий еще более существенные и крупные результаты, чем его предыдущие опыты с прививкою, в целях омолаживания, семенных желез обезьян человеку.

Он избрал объектами для своих исследований домашних животных и попытался применить добытые относительно действия половых гормонов теоретические данные для чисто практических целей сельского хозяйства и животноводства.

Действительно, если, как показывает приведенный выше пример девятилетнего мальчика, увеличение количества половых гормонов в молодом, еще незрелом организме вызывает преждевременное развитие, увеличение мышц, обильный рост волос, нельзя ли использовать это свойство с практическими целями и путем прививки молодым животным *линией* половой железы усиливать их рост и развитие?

Вуронов заметил также, что у кастрированных баранов шерсть не достигает такой длины, как у нормальных. Если, следовательно, уменьшение количества половых гормонов вызывает укорочение шерсти, то нельзя ли, спрашивается, добиться развития более длинной шерсти, увеличивая количество гормонов?

Он проделал ряд опытов прививок третьей семенной железы молодым баранам и убедился в том, что, действительно, длина шерсти сильно различается, как различается и все развитие. В 1923 году он взял трех молодых баранов в возрасте трех, четырех и пяти месяцев. Они весили соответственно 18, 23 и 30 кило. Старший из них был кастрирован и одна из желез его была пересажена на железы самого младшего. Через 10 месяцев оказалось, что самый младший прибыл в весе на 18 кило, нормальный средний—на 13 кило, а кастрированный старший—на 4,2 кило. Шерсть барана с пересаженною железой достигала 9 сантим., шерсть контрольного—8 см., а кастрированного—6 см., впрочем, бараны эти достигнут полного развития лишь летом нынешнего 1925 года и только тогда можно будет сказать окончательно, до какой степени прививка семенной железы дает и может дать удлинение шерсти и увеличение веса шерсти, снятой с одного барана.

Другой вопрос, который интересно было выяснить, заключался в том, нельзя ли путем прививки семенной железы продлить срок, в течение которого с барана можно получать шерсть?

В этом направлении были также сделаны опыты, и оказалось, что после прививки 12-летнему барану, едва державшемуся на ногах от старости и обладавшему жидкою, вылезшею шерстью, семенной железы 2-летнего барана, он через три месяца помолодел, поправился, получил способность к половой деятельности, ранее им совершенно утраченной, и главное—покрылся густою и длинною шерстью. Для большей доказательности через 18 месяцев у этого барана была сделана вторичная операция, при которой были удалены те кусочки пересаженной молодой железы, которые уже прочно срослись со старой железой. И оказалось, что через 3 месяца баран опять впал в совершенно дряхлое состояние,—к нему вернулись все прежние признаки старости.

Тогда он был оперирован в третий раз, и снова ему была пересажена железа молодого барана. И еще раз произошло волшебное превращение—баран опять оправился, помолодел, снова вернулась утраченная половая способность и он стал сильным, бодрым и крепким. Замечательнее всего, однако, что этот баран, на четыре года перешедший уже за предельный возраст, баранам свойственный (14 лет), будучи 19—20 лет от роду, покрылся густою, прекрасною шерстью, которой дал при стрижке 3 кило. В нормальных условиях это невозможно уже потому, что бараны не достигают такого возраста и старые бараны не дают такого количества шерсти.

«Отсюда можно заключить,—говорит С. Воронов,—что пересадка третьего яичка вызывает рост более густой и более длинной шерсти, увеличивает вес животного, величину шкуры и дает возможность не только продолжить жизнь, но и сохранить в неприкосновенности жизнеспособность и производительную силу в отношении шерсти».

Если принять во внимание, что в настоящее время овцеводство во всех странах сокращается, тогда как спрос на шерсть увеличивается, то все огромное хозяйственное значение этого открытия станет для нас ясным. Применяя пересадку желез, производимую путем сравнительно простой и совершенно безопасной операции, мы можем увеличить продукцию шерсти и, может быть, даже улучшить некоторые ее качества (длину волос), не увеличивая стада. Весьма возможно, что операция при массовой постановке дела будет вполне окупаться большей долговечностью баранов и большим количеством шерсти, которое каждый из них даст.

С. Воронов полагает (на наш взгляд, без достаточного основания), что ему, может, удастся путем прививки создать и особую породу с густой и обильною шерстью. Он намеревается попробовать привитых баранов скрестить с овцами, получить от них потомство, это потомство еще раз привить и скрестить с овцами, произошедшими от первых баранов,—таким способом, по его мнению, густота шерсти и другие ценные признаки могут развиваться, усилиться и закрепиться наследственно, так что образуется новая более выгодная для разведения порода. Опыт такой, конечно, интересно произвести, но за успех его ручаться трудно.

Имея в виду развитие дела пересадок половых желез, Воронов вошел в соглашение с алжирскими колониальными властями и в настоящее время у него в лаборатории обучается прививкам целый ряд алжирских ветерина-

ров, при помощи которых в этой колонии с сильно развитым овцеводством будет поставлен ряд опытов в огромном масштабе. В местечке Тальмат, в пустыне, уже устроена специальная лаборатория для пересадки половых желез.

Кроме того, Воронов ставятся опыты и простого омоложения домашних животных в целях удлинения срока половой деятельности хороших производителей. Опыты, поставленные им в этом направлении над быками, дали вполне удовлетворительный результат: быки, совершенно утратившие половые способности уже несколько лет тому назад, после пересадки третьей семенной железы приобретали их вновь и давали потомство при скрещивании.

Кроме того, Ворсов надеется с помощью прививок желез улучшить породу африканских быков, которые очень мелки и слабы, так что мало пригодны для производства полевых работ и для перевозки тяжестей. Если бы это удалось, это было бы огромным шагом вперед в животноводстве, так как значительно ускорило бы тот медленный, требующий десятков лет, путь постепенного подбора, которым до сих пор в подобных случаях приходилось действовать животноводам.

Сходные опыты улучшения породы в сторону развития большей силы, большего веса и выносливости предпринимаются и над свиньями, и над лошадьми. По отношению к последним итальянское правительство настолько заинтересовалось, что предписало применить метод пересадки к образцовым производителям кавалерийских частей, и опыты в этом направлении идут удачно.

В этих работах С. Воронова мы видим целый ряд блестящих идей, намечающих новые пути, в высшей степени важные в смысле практического использования. Идеи эти могут оказаться очень плодотворными и можно только пожелать, чтобы во всех этих направлениях было произведено достаточное количество опытов,—только опыты, конечно, могут иметь здесь решающее значение.

II.

Если в открытии С. Ворсова мы видим использование скрытых в половых гормонах сил природы, то в другом, не менее важном русском открытии используется расточаемая природою без пользы материя.

Мы говорим о не новом уже, но получившем за последнее время большое развитие *искусственном оплодотворении* или, как может быть правильнее назвать, *искусственном обсеменении* домашних животных проф. И. И. Иванова в Москве. Недавно на втором съезде русских зоологов, анатомов и гистологов в Москве проф. Иванов поделился своими новыми достижениями в этой области, и мы можем сообщить о них некоторые новые данные.

Основую этого открытия, получившего даже у нас довольно быстро широкое применение, является следующее обстоятельство. Семенная жидкость самца каждого животного содержит огромное количество семенных телец (сперматозоидов) и каждое из них вполне способно к оплодотворению. Количество семенной жидкости также очень велико,—так, жеребец извергает за один раз до 300 куб. см. семени и в каждом куб. сантиметре содержится 20—30 миллионов семенных телец. Из всей этой массы семенных телец в лучшем случае лишь *одно* достигает цели, т.-е. соединяется с яйцевой клеткой и дает начало

новому организму, все остальные, столь же на это способные, пропадают даром.

Такая расточительность природы не является необоснованной. В естественных условиях семенным тельцам приходится пройти длинный путь в половых протоках самки и многие из них не доходят до конца или, если и дойдут, то не находят крохотной, имеющей всего 0,1 миллим. в поперечнике, яйцевой клетки. Избыток семенной жидкости и колоссальное количество семенных телец имеют своей целью гарантировать оплодотворение. Тем не менее, нормальное оплодотворение вполне возможно при участии гораздо меньшего количества сперматозоидов.

Проф. Иванов использовал это последнее обстоятельство. Он добывает семенную жидкость очень простым способом: закладывает перед оплодотворением во влагалище самки губку, которая при покрытии самки впитывает всю извергнутую самцом семенную жидкость. Затем эта губка извлекается, ее отжимают и выдавливают из нее всю жидкость. Для увеличения количества последней она разводится солевым раствором такой концентрации, которая не вредит семенным тельцам, при чем развести ее можно раз в 10. Этот разведенный раствор впрыскивается затем с помощью особых резиновых шприцов специальной формы во влагалище других самок, готовых к оплодотворению, и такое впрыскивание вполне заменяет нормальное оплодотворение. Самка забеременевает и приносит вполне жизнеспособного детеныша.

Метод этот особенно ценен в том случае, когда производители не могут покрыть большое число самок. Так, жеребец обычно покрывает в сезон не более 30 кобыл, тогда как при применении искусственного обсеменения его спермой можно оплодотворить 300 кобыл. Это особенно важно, когда мы имеем ценных производителей, передающих чистую породу.

Способ искусственного оплодотворения быстро привился у нас в коннозаводстве, и еще до войны, в 1909—13 г.г., таким способом было произведено на разных казенных заводах и случных пунктах 6.804 оплодотворения, при чем процент жеребости у кобыл достиг 90,7%, т.-е. даже превысил нормальный. Полная безопасность метода в смысле влияния на наследственные свойства потомства была доказана многочисленными опытами.

За последние годы искусственное оплодотворение было опять широко развито в области коннозаводства и в настоящее время число «искусственных» лошадей достигает не менее десятка тысяч. Они ничем не отличаются от нормальных.

Проф. Иванов применяет теперь этот метод и к другим животным с меньшим успехом. Он был испытан на крупном и мелком рогатом скоте, на свиньях, кроликах, морских свинках и, что особенно интересно, применен за последнее время и к тем диким пушным зверям, которые теперь разводятся у нас на специальных «пушных фермах». Опыты, произведенные с лисицами, дали вполне удовлетворительные результаты. Если бы удалось найти подходящих производителей, то можно было бы наладить очень выгодный промысел, например, разведения чернобурых лис или голубых песцов.

Вообще, овладение этим методом обещает много ценных результатов в смысле скрещивания видов и разновидностей. Впрочем, в смысле скрещивания настоящих видов проф. Иванов приходит к строгим выводам. Его попытки получить так называемых лепоридов, т.-е. продукт скрещивания

кроликов и зайцев, оказались совершенно неудачны, а все ранее описанные случаи получения лепоридов являются очень сомнительными. Точно также им приписываются теперь основанными на ошибке и его собственные описанные раньше и попавшие даже в некоторые руководства опыты скрещивания мыши с крысой. Но, поскольку дело касается разновидностей, отличающихся второстепенными признаками окраски, свойств шерсти и т. п., искусственное оплодотворение может дать много интересного. Возможно, что таким способом удастся вывести немало новых пород.

Очень интересно также, что искусственное оплодотворение проф. Иванову удалось распространить и на птиц. Применяя различные методы добывания спермы птиц, он получал вполне удачное оплодотворение. При этом им было выяснено интересное обстоятельство, нуждающееся, впрочем, еще в подтверждении и проверке другими методами. Именно, оказалось, что у птиц при однократном покрытии оплодотворяются сразу несколько яиц, находящихся на разных стадиях развития в яичнике. Прежде полагали, что оплодотворение яйца птицы происходит в яйцеводе, во время прохождения яйца и формирования его. Проф. Иванов, однако, после оплодотворения курицы тщательно промывал яйцевод дезинфицирующим раствором, убивающим все сперматозоиды, содержащиеся в нем. И тем не менее, в течение нескольких недель курица несла оплодотворенные яйца, из которых развивались цыплята, несмотря на строгую изоляцию и невозможность повторного оплодотворения. Ясно, что при первом оплодотворении должны были быть сразу оплодотворены несколько яиц на разных стадиях развития, которые затем постепенно созревали и сносились птицей.

В животноводстве в смысле получения породистых животных и выработке, быть может, и новых пород, этому способу искусственного вмешательства в дело размножения животных принадлежит, без сомнения, большое будущее.

III.

После этих двух открытий, имеющих прямое практическое значение, отметим важное теоретическое открытие, сделанное также русским биологом проф. А. Г. Гурвичем в Москве. В области теоретической науки, впрочем, никогда нельзя узнать наперед, каково значение нового достижения, и еще труднее судить, не будет ли оно иметь и крупных практических приложений в будущем.

Проф. Гурвич в течение ряда лет исследовал процесс деления клеток животных и растений и изучал влияние разных условий на тот сложный способ деления, который называется *кариокинезом* и составляет основной способ деления всех живых и жизнеспособных клеток. Одним из очень хороших объектов для изучения процесса деления служит корешок обыкновенного лука. Во время нарастания в нем, как и во всяком молодом органе, происходит очень энергичное деление клеток путем кариокинеза. При том деление это, хорошо заметное под микроскопом на поперечных срезах через корешок, распределяется совершенно равномерно по окружности цилиндрического корня.

Изучая разные влияния, проф. Гурвич заметил, что если к такому корешку приблизить другой такой же точно корешок в перпендикулярном к нему на-

правлении, то на первом корешке распределение кариокинетических фигур деления оказывается уже не равномерным, а именно с той стороны, к которой подходит (не касаясь ее непосредственно) другой корешок, фигур деления оказывается значительно больше, — на 50—60% и более — иначе говоря, на этой стороне начинается усиленное размножение клеток. Получается, таким образом, впечатление, что от второго корешка исходит как бы какой-то импульс, побуждающий клетки первого к усиленному делению.

Тщательное исследование этого явления подтвердило, что такой импульс, действительно, исходит и при том действует *на расстоянии*. Но действие на расстоянии может быть обусловлено только либо потоком частиц, либо исходящими *лучами*. Предположение о потоке частиц пришлось отбросить, так как обнаружилось, что влияние распространяется и через некоторые прозрачные среды, например, чрез очень тонкое стекло. Является, следовательно, более вероятным, что из второго нарастающего корешка исходят лучи, преодолевающие пространство, идущие по прямому направлению, проходящие через некоторые среды и, как показали дальнейшие опыты, отражающиеся и преломляющиеся, подобно световым. Источники этих лучей — делящиеся клетки корня, и результатом их воздействия на другие клетки является побуждение последних к усиленному делению.

Умерщвление корня ведет и к приостановке действия лучей. Помещение между корнями стеклянных или металлических пластинок ослабляет или приостанавливает их действие. Различные опыты и соображения привели проф. Гурвича к заключению, что лучи эти — типа световых или, вернее, ультрафиолетовых, невидимых лучей спектра с короткой волной. Интересно, что они, например, проникали свободно сквозь пластинку кварца, которая проницаема и для ультрафиолетовых лучей. Их действия на фотографическую пластинку, однако, не удалось констатировать.

Существование таких лучей, вызываемых интенсивными жизненными процессами клеток, с принципиальной точки зрения, не может встретить никаких препятствий. Мы знаем немало случаев, когда животный или растительный организм выделяет энергию в форме лучей. Таковы все случаи свечения животных и растений. Нам известно много светящихся рыб, насекомых, моллюсков, червей, инфузорий, бактерий и других организмов. С другой стороны, и в той гамме лучей, которая мыслима с точки зрения физики, существуют еще обширные пробелы неизвестных нам лучистостей, и как раз между ультрафиолетовыми лучами и Герцевскими волнами пробел довольно обширен.

Пока трудно еще дать точное определение длине волны и другим особенностям этих новых *лучей жизни*, как их можно было бы назвать, но, несомненно, дальнейшее их исследование разрешит этот вопрос.

Еще труднее сейчас учесть значение этого открытия в будущем, но самый факт существования особого лучеиспускания делящимися клетками, лучеиспускания, действующего стимулирующим образом на деление других клеток, высоко интересен и, быть может, даст впоследствии физико-химическое объяснение многим процессам, которые не находят себе объяснения.

ПРОФ. П. Ю. ШМИДТ.

По Советской земле.

Двери в Азию.

Г. Гайдовский.

...**Б**есконечная степь. Унылые верблюды, редкие фигуры киргизов и горячий ветер, несущийся из Голодной степи. Этот ветер накаляет вагон, охватывает железными обручами голову, сушит горло, нагревает воду в чайниках, предусмотрительно наполненных на станции.

Здесь в нескольких десятках верст от Ташкента, чувствуется юг. Здесь не просто жарко, здесь невыносимо, как в горячем отделении бани после нескольких шаек воды, опрокинутых на раскаленные камни.

Эти несколько часов подготавливают к самому худшему и тем большей неожиданностью является чистый, свежий воздух Ташкента.

Несколько верст садов и виноградников заканчиваются приземистым, шумным и грязным Ташкентским вокзалом.

Шум, гам, толкотня и беготня.

Того и гляди, вынырнут откуда-нибудь люди с мешками на плечах, худые, оборванные и голодные. Начнут менять старые брюки и юбки на хлеб...

Нет! Старое не вернется!

Об этом «старом» киргизы вспоминают с ужасом.

У них даже ругательство есть:

— Самара!

Из Самары валила бесшабашная волна мешочников, грабила, обманывала, ломала, насилывала, гадила, и Самара осталась в обиходе киргизов бранным словом.

Да, старое не вернется; однако, Ташкентский вокзал грязен и безалаберен до-нельзя.

Кому-то страшно мешали идиотские надписи на товарных вагонах: «40 людей, 8 лошадей», но никто до сих пор не примется за вокзалы. Здесь все так же таборами лежат крестьяне-переселенцы, ползают между ногами пассажиров ребята, гадят на полу. Это называется—«ждут поезда».

Что дело упорядочить станционную жизнь—неизвестно, но если вам придет в голову бросить на загаженный пол окурки—вас оштрафуют.

Так делают в Москве и, черт побери, чем хуже Ташкент Москвы? Недаром же в Ташкенте милиционеры точно в такой же форме, как в столице.

Москва равняется на Берлины и Лондоны, провинция тянется за Москвой.

Извозчик—молоденький парнишка—блуждал по всему городу в поисках гостиницы.

Сначала мы с ужасом заметили, что в Ташкенте все улицы являются точной копией одна другой, потом убедились, что извозчик не знает, куда ехать.

Он долго не сдавался:

— Сейчас вот заверну за угол, тут она и будет!

Ездили мы так около часу, пока один из нас не пошел пешком, спрашивая прохожих.

Принято считать, что уж кто-кто, а извозчик знает свой город. Я знал извозчиков, которые разбирались даже в лабиринтах Арбата и Пречистенки. Однако, Ташкент—исключение. Здесь никто ничего не знает.

Все перепуталось.

Приезжие, пользуясь планом Ташкента, называют улицы их новыми названиями, коренные жители, по врожденному консерватизму, не хотят отказаться от «Соборных» и «Романовских» улиц.

Получается полная ералаш.

К этому надо прибавить, что площадь, занимаемая Ташкентом (старым и новым), равняется площади Ленинграда и Москвы, взятых вместе.

Ташкент—первый город, который вы встретите по пути в Туркестан.

Ташкент—двери Азии.

Раньше Ташкент был столицей Туркестана.

Сейчас, после национального размежевания, он является областным центром Узбекской республики, а столица перенесена в Самарканд. Узбекская республика занимает площадь 440.000 кв. верст, с населением около 4 миллионов человек. Треть населения составляют узбеки.

Огромное большинство населения—сельское, только 600.000 чел. городского населения.

Узбеки, главным образом, занимаются земледелием, затем идет скотоводство.

По данным 1923—1924 г. сельское хозяйство Узбекистана дало 253 миллиона руб. дохода. Из этой суммы 192 миллиона падает на земледелие и 61 миллион на скотоводство.

Мелкое дехканское хозяйство является основным типом хозяйства Узбекистана. На душу населения здесь приходится всего в среднем 2,1 десятины земли и 5,2 голов скота.

Способы обработки земли первобытные.

Все сельскохозяйственные орудия заменяет своеобразная лопата (кетмень), напоминающая нашу сапу или мотыгу, в которой металлическая часть, кстати сказать, весящая до 7 фунтов, надевается перпендикулярно палке. Таким образом, узбек не копает, а рубит землю.

М. И. Калинин во время поездки по Узбекистану посмотрел на узбеков, долбящих землю, и его мужичье сердце не выдержало:

— Плужок бы сюда рязанский,—сказал он,—вот бы дело пошло!

Но узбеки продолжают ковырять землю допотопными кетменями. Впрочем, кое-где уже появились «Фордзоны».

Узбеки на них сначала смотрят с недоверием, а потом (люди они практичные) начинают считать, сколько надо собрать со двора денег, чтобы выписать трактор.

Узбеки часто раздражают своей непонятливостью, но это потому, что мы их не понимаем, вернее и не хотим понять. Они прекрасно поняли, что такое трактор и какую пользу он принесет для их, еще доморощенного, хозяйства.

Ташкент—своеобразный город.

Он имеет недурной трамвай, электричество, водопровод, прекрасные типографии, оборудованные ротационными машинами и линотипными. В Ташкенте одна из лучших газет СССР «Правда Востока». Здесь—театры, цирк, кино, одним словом—Европа.

Но Ташкент, конечно,—Азия.

От него нельзя отнять всю пестроту, всю шумливость Азии.

Караваны верблюдов, узбеки, бродящие по улицам, чайханы, в которых узбеки с утра до вечера тянут из плоских чашечек пиал-кокчай (зеленый чай)—все это Азия.

Слегка горьковатый кокчай прекрасно утоляет жажду.

Наливают его на самое доньшко—удобнее держать пиалу, она не так нагревается.

Чем меньше наливают вам чаю, тем большим уважением вы пользуетесь.

По отношению к европейцам—все очень гостеприимны.

В одной ташкентской чайхане мы хотели попробовать местный хлеб в виде лепешек (ноны).

Узбек, подававший нам чай, долго не понимал в чем дело, потом просиял и бросился из чайханы.

Через 10 минут он нам принес... ватрушку—специально бежал в кондитерскую.

В Ташкенте широкие мощеные улицы, вдоль тротуаров текут оросительные ручейки—арыки.

Благодаря арыкам—прохлада и сырость.

Днем, когда солнце печет немилосердно, арыки кое-где пересыхают. Вода становится мутной, но эту воду пьют.

Без воды трудно.

По всему Ташкенту бегают ребята и продают «холодную воду» сомнительной свежести и чистоты.

Впрочем, публика охотно пьет.

Ташкент ничего не имеет своего.

Лучшие магазины—отделения московских трестов, лучшие товары—московские, вино—московское, даже шелк—с пломбой шелкотреста.

Единственное, что запомнилось в Ташкенте—квас.

Чудный квас, продаваемый на каждом перекрестке.

И дешево, и сердито.

В Ташкенте есть красивые, двухэтажные здания, но преобладают здесь одноэтажные домики. Иначе нельзя—частые землетрясения.

Днем Ташкент напоминает сонное царство. Жарко. Дворники поливают улицы, черпая воду просто из арыков. В учреждениях люди варятся в собственном соку, на улицах только узбеки. Их прожженная насквозь кожа не боится солнечных лучей.

Они сидят на плоских помостах, покрытых коврами, и пьют чай.

В Ташкенте, как и во всяком городе, есть свои достопримечательности.

Здесь есть и домик Черняева, завоевателя Ташкента, и братская могила солдат, убитых при штурме Ташкента, и дворец б. великого князя Николая Константиновича, где сейчас находится Художественный Музей.

Интересна судьба «великого князя».

После Октября ему предложили «убираться вон».

Николай Константинович отказался наотрез.

— Вы, революционеры, а я тоже революционер. Меня царь сослал сюда в Ташкент. Куда я теперь поеду? За границу? Но ведь там все, кто меня ненавидит, а разве мало я здесь сделал?

Действительно, на свой счет Николай Константинович оросил 60.000 десятин Голодной степи.

Его оставили в покое до самой смерти. После смерти жена его оставалась хранительницей музея, но... «что может быть хорошего из Назарета?»

Княгиня скрыла ряд ценных вещей, в том числе известную картину «Купальщица».

Кончилось тем, что княгиню убрали.

На Джизакской улице—двухэтажный дом.

Это штаб Туркестанского фронта.

В Туркестане существует последний в СССР фронт против басмачей.

В качестве корреспондента военной газеты, я был в сердце штаба— в оперативном отделе.

Стены увешаны картами и диаграммами.

За столом военный, т. Ипполитов—упрямое, энергичное лицо—такими рисовали английских моряков. 2 ордена Красного Знамени—бухарский и хорезмский. Он уже пять лет бьется с басмачами.

Сам журналист, т. Ипполитов дает интервью удивительно сжато и ярко.

В Хорезме и Фергане басмачество ликвидировано, в Бухаре ставленник эмира бухарского курбаши (предводитель) Ибрагим Бек, накануне полного разгрома. Здесь шайки басмачей, достигавшие в 1922 г. 20.000 человек, почти ликвидированы.

Одна из причин разложения басмачей—перемена настроения у населения. Сейчас местное население всячески поддерживает советскую власть.

Тов. Ипполитов роется в груде телеграмм и потом быстро читает:

— Об'единенная шайка под командой Муллы Ишанкула, численностью в 100 джигитов, в урочище Мин-Чукур пыталась захватить табуны одного из кунградских родов, где была обнаружена мусульманским отрядом в 40 человек. Этот отряд вступил в бой, продолжавшийся 4 часа, после чего на помощь мусотряду присоединилось все население урочища, вооруженное палками, мужчины и женщины. Банда, оставив 10 человек убитыми, вынуждена была отступить.

И так—езде.

Последний фронт накануне ликвидации.

В 35 верстах от Ташкента—лагери.

Машина, поднимая клубы пыли, быстро идет по укатанному шоссе. Ребята-узбеки в попутных кишлаках выбегают на улицу, женщины пугливо кутаются в паранджу—халат без рукавов, надеваемый прямо на голову.

В лагере—необыкновенное зрелище; весь лагерь в трусиках.

На занятиях—в форме, а после занятий—в трусиках.

Если бы не часовые у знамен, то не поверил бы, что это военный лагерь. Курорт какой-то.

Здесь ребята и с Волги, и из Сибири, и из Украины.

Балалайка, гармошка.

Театр, состоящий из нескольких площадок, от которого не отказался бы и Мейерхольд.

Ребята в лагерях загорели, окрепли.

У них и песни свои, фронтовые.

Здесь, против басмачей билась буденновцы и они поют:

Бухреспублику задумал
Эмир снова захватить,
Но буденновцы удалые
Пришли ее освободить.

Басмачи, как ни старайтесь,
Ничего вам здесь не ваять,
Уходите, пока целы,—
Или всыпем вам опять.

Нет, не верится, что это военный лагерь.

В быстром, горном арыке Зах болтаются десятки загорелых тел, а ведь совсем недавно они пришли с фронта, где приходилось совершать переходы под палящим солнцем, переходить через снежные перевалы.

Ничего.

Уходите, пока целы—
Или всыпем вам опять!..

Рядом с лагерем село Троицкое.

Каменная церковь, крепко сколоченные дома, коровы, собственные выезды.

Был праздник. Весело перезванивались колокола. По дороге ходили мужики в сапогах бутылками, в жилетах поверх ситцевых косороток.

Девицы в кисейных «городских» платьях.

Рассейская «талыанка».

Мужики здесь богатые—земля два урожая в лето дает, горевать нечего. А жара? К жаре привыкли!

В селе—кооператив, школа, библиотека.

— Знай наших!

А на мосту через арык стоит узбек с сеткой, привязанной к длинному песту.

— Что он делает?

— Дрова ловит. Арык из гор несет, а он ловит.

Узбек стоял с утра до вечера и ловил дрова. К вечеру он наловил порядочную кучу. Над ним посмеивались, но он молчал. И трудно было представить, о чем он думает, спокойный, сосредоточенный, невозмутимый...

...Трамвай долго юлит в узбекских улочках и, наконец, останавливается.

Старый город.

Как не похож он на говый!

Там—широкие улицы, здесь—с трудом проезжаются две арбы, там—зеленый, здесь—и кустика, там—большие дома, здесь—глибокие домики с плоскими крышами.

Гортанные крики узбеков, продающих холодную, пьянящую бузу или свежие коны (хлебные лепешки), крики ишаков, ржанье лошадей.

Да, здесь Азия. Ни электрические фонари, ни милиционеры в столичной форме,—ничто ни отнимет у старого Ташкента его восточную девственность.

Да, это Восток!

Здесь все голубое или желтое.

Голубое небо, голубые халаты у узбеков, голубые пагоанджи у жекшинов, голубая облицовка мечетей.

Желтые стены домов, желтая, пыльная дорога.

Старый город живет своей замкнутой жизнью.

Жекшины до сих пор закрывают лицо плотной сеткой из конского волоса (чачван), и их укутанные с головы до ног фигуры странно напоминают членов амеи канского Ку-Клукс-Кланда или египетские мумии.

Днем старый город бурлит.

В каждом доме—лавочка, через дох—чайхага: пьют чай, курят чилим (уземный кальян), слушают музыку—буенчалье на дутаре (особый род балалайки).

В парикмахерских узбеки бреют головы. При этой процедуре мыло не употребляется, а голову долго массируют, так что она теряет всякую чувствительность, впрочем европейца намыливают.

У стен приютились торговцы в разнос. Чего-чего только здесь нет!

Нас привлекли маленькие белые шарики.

— Что это?—спросил мой товарищ у торговца.

— Молоко.

Мы решили, что это сгущенное молоко.

— Куда его кладут? В воду?

— Нет, в рот.

Ответ был поистине изумителен по своей простоте.

Шарики оказались овечьими сырками и их, конечно, следовало класть в рот. Кстати сказать, сырки очень острые и невкусные.

Вся жизнь узбека строго регламентирована.

Еще до сих пор религия для большинства из них—это все.

Женщина по их понятиям не человек, но когда в семье рождается девочка, все довольны. За нее дадут в свое время калым (выкуп). Хорошая жена стоит 50 верблюдов.

Бедняк может купить себе жену «на выплату», как когда-то продавались швейные машинки Зингера.

До того момента, как он выплатит весь калым, жена остается у родных.

На улице женщина идет на пять шагов позади мужа.

В мужские комнаты она показаться не может даже в парандже и чачване.

Если муж скажет три раза «развожусь»—этого достаточно, он разведен.

Сильно распространено многоженство. Затворничество женщин ведет к лесбийской любви, мужчины занимаются педерастией и часто, наряду с женами, содержат мальчиков-баччей.

Баччи—препротивные создания, накрашенные, нарумяненные, танцуют на праздниках и поют неприличные песни.

Туземная писательница Лола-Хан Арсланова-Сайфуллина (автор книги «Ичкары») водила нас по старому городу.

У ее родных нас кормили пловом.

Нам подали деревянные ложки, но обычно едят руками.

Если узбек захочет вам выказать особое расположение, он своей рукой сует вам в рот горсть рису.

Это высший знак уважения.

Старый город полон чарующей своеобразной прелести.

Жуткие фигуры узбечек, быстро перебегающих дорогу, караваны верблюдов, арб,—все это особенное, свое, самобытное, и как-то грустно становится, что культура сметет этот особенный быт, но должна смести.

За глиняными стенами в ичкары (женская половина), куда не может проникнуть европеец, до сих пор царят ужас и произвол.

Во время нашего пребывания в Ташкенте один узбек в присутствии всех родных избил свою дочь до полусмерти только за то, что она хотела поступить в школу.

За глиняными стенами царит до сих пор средневековая темнота, и надо много такта и умения делегаткам женотдела, чтобы пробить окно в это темное царство.

Лола-Хан Арсланова очень ярко и образно (в ее творчестве есть что-то родственное Робиндранат Тагору) описала жизнь ичкары.

Ей нельзя было показаться в старом городе.

По мнению узбечек, она выносила «сор из избы».

Сейчас тов. Арсланова пишет роман из жизни узбечек.

Шумный, пыльный, яркий старый город быстро затихает.

Чуть только наступила темнота, запираются узбеки в своих домах и ложатся спать.

Вечером здесь тишина.

Воркуют голуби, изредка прокричит ипак или заржет лошадь.
Зато там, в новом городе, только начинается жизнь...

...Вечером, когда солнце зашло, живительная прохлада выгоняет на улицы все население Ташкента.

Вышли и мы.

По центральным улицам шли густые толпы гуляющих, мимо пролетели своеобразные ташкентские трамваи, выкрашенные в белую краску. Светились витрины магазинов. На все лады пели мальчишки:

— «Правда Востока»—газета!

— Холодная вода!

— Ирисы по копейке!

Они не кричат, они непременно поют, и в этом—своеобразная восточная прелесть.

Главное движение на проспекте Карла Маркса.

Бедный Маркс, если бы он увидел ту обывательскую, мещанскую публику, которая наполняла тротуары, он тяжело бы вздохнул.

Когда-то эта улица была просто Соборной, и такой она осталась.

О. Генри в одном из рассказов сказал: «быстрая езда есть поэзия и великое искусство, а луна—сухое скучное существо, движущееся и существующее по рутине».

Лунная ночь сама по себе пошла, но нигде она не опошляет так, как в Ташкенте.

Где-то творили революцию, где-то рабочие с винтовкой в руке добивались свободы, где-то строят новую жизнь, а здесь?..

Кисейные девицы, утопающие в море воланов и рюшей, да какие-то «галантерейные» молодые люди. Они гладко выбриты, складка у брюк крепко заглажена (для этого брюки на ночь кладутся под тюфяк), в петличках—розы.

Розы везде.

У девиц в волосах, у молодых людей в петлицах, даже у ишаков в сбруе.

На проспекте Карла Маркса узбеки торгуют розами.

Тысячи роз.

— Три копейки пара!

— Две копейки!!

— Бери за копейку!!!

Воздух напоен запахом роз.

А мимо непрерывной лентой движутся ташкентские обыватели, вышедшие погулять.

Я прислушался к разговорам, и у меня волосы дыбом встали, когда я услышал:

— Вы прекрасны, точно роза, только разница одна: роза вянет от мороза, ваша прелесть—никогда!

И сказано это было очень серьезно.

Изредка среди флиртующей молодежи появится нечто анахроническое в царской офицерской фуражке и серой накидке. Это «завоеватель» времен царя Гороха.

На улице Маркса есть магазин старинных вещей.

Здесь можно найти старые севрские сервизы, коллекции шашек, инкрустированные дуэльными пистолеты, брюссельские кружева, картины известных художников, прекрасные гобелены. Это «завоеватели» приканчивают свои «трофеи».

В столовой «Наршита» обед подавали нам на посуде, украшенной замысловатыми княжескими гербами.

Что поражает в Ташкенте ночью,—это обилие ресторанов и кафе! Днем их не видно, но ночью через каждый дом освещенные вывески.

В громадном сквере со всех сторон несется музыка, переплетаясь со звоном посуды.

Тысячи электрических лампочек.

Полная иллюзия, что вы на какой-нибудь ярмарке или выставке. Кино переполнены.

Публика неприхотливая.

«Маркитантка Сигаретт»? Даешь «Маркитантку»!

«Приключения американки» в трех сериях? Даешь «Приключения»!

Узбеки обожают кинематограф и, главным образом, картины приключенческие. Они, открыв рты, с восхищением смотрят на прыжки с 10-го этажа и вместе с героями переживают все их радости и невзгоды.

— Якши! Джуда якши (хорошо, очень хорошо)!—часто услышите вы громкий возглас во время сеанса.

Узбеки почти не принимают участия в горячем весельи, охватывающем Ташкент ночью, но каждый вечер тянутся они из извилистых лабиринтов старого города в новый к ярким огням, к шуму, к музыке. Молчаливые, бесстрастные, они ходят по аллеям сквера, смотрят на новую, иную жизнь, так непохожую на жизнь их тесных пыльных улочек.

До революции узбек не смел ходить по тротуару.

Он обязан был уступать дорогу всем людям, носившим кокарду («казенный человек»). Приготовишка-гимназист носил кокарду, и старые узбеки обязаны были уступать ему дорогу.

Сейчас узбеки—хозяева Ташкента, но, как часто бывает с людьми, которых все время унижали—они сейчас болезненно самолюбивы и во всем видят оскорбление.

Серьезный скандал вышел в одном ресторане.

Кто-то сказал:

— Здесь много ишаков.

Присутствующие узбеки приняли на свой счет—ишаками называли их при царе.

Уже совсем под утро мы по Самаркандской улице вышли к окраине города и увидели бруствер старинной крепости.

Черным силуэтом вырисовываясь на заалевшем небе, ходил по крепостному валу часовой в остроконечном шлеме.

Только здесь вспоминаешь, что в Бухаре до сих пор кипит басмачество, что до сих пор красные части грудью отстаивают право узбеков на спокойную жизнь.

ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ.

К р и т и к а.

Сочинения Л. Сейфуллиной и ее критики.

Георгий Якубовский.

Лидия Сейфуллина—популярная современная писательница, пользующаяся особенной благосклонностью критики, зачислившей ее в мастера широкого, полнокровного искусства (см. «Печать и Революция» № 1 с. г.). При чем, в произведениях Сейфуллиной, рядом с «полнокровным» мастером уживается «автор третьесортных, жидких, безвкусных повестей», в роде «Четырех глав». Несмотря на эту знаменательную оценку, один критик убежденно заявляет: «Сейфуллину следует печатать не в тысячах, а в десятках и сотнях тысяч экземпляров» («Красная Новь»). Другой критик по поводу выхода сочинений писательницы возвещает о «праздничном дне» современной литературы («Известия»). Со стороны идеологической оценки произведениям писательницы также даны положительные отзывы; ее не считают попутчицей (Осинский), а между Сейфуллиной и Неверовым видят единственную разницу в том, что дарование ее крупнее («Печать и Революция», № 1). Следует отметить одно характерное обстоятельство, что неровность в творчестве писательницы была отмечена критикой *только* после выхода в свет ее сочинений полностью. И вот у читателя, в связи с распространенным мнением авторитетных критиков, возникает ряд вопросов. В самом деле, если искусство Сейфуллиной характеризуется такими, как указано выше, резкими колебаниями, то едва ли целесообразно печатать безвкусные повести «в сотнях тысяч экземпляров», тем более, что предназначаются они критиком «для изб-читален, для клубов и библиотек». Ведь не поздороится избам-читальням от третьесортного, жидкого искусства, особенно, если идеологическая крепость этого искусства подвержена таким же колебаниям, как и их художественная ценность.

Обратимся же к сочинениям Сейфуллиной и посмотрим: быть может, в них есть другие черты, более важные, более конкретно-уловимые и показательные, нежели общие ссылки критиков на «широту», «неровность», «свежесть», «оригинальность» и т. п.

Особенностью и любимым приемом писательницы является карикатура и анекдот. Уже в лучшей, наиболее цельной и выдержанной по настроению и силе, вещи—«Правонарушителях» обозначается тяга Л. Сейфуллиной к анекдоту в карикатурном изображении митингового оратора: «Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны» и пьяного на митинге с его приставаниями: «Товарищи, прошу вас апракинуть капитал»; также в изображении детского дома и воспитательниц. Но здесь случайное, причудливое у места, т. к. вся жизнь беспризорного, брошенного ребенка—это сплетение случайностей и неожиданных, в поле сознания такого ребенка скорее всего попадает то, что резко выделяется из общего фона действительности. В своем дальнейшем писательском движении Сейфуллина все чаще прибегает к анекдоту в разнообразных его формах, стоит вспомнить «инструктора красного молодежа», или аптекаря Рейзмана, встречавшего колокольным звоном

казаков («Ноев ковчег»). О бывшем становом приставе, вслед за рассказом об аптекаре, Сейфуллина так и пишет: «Городу суждено было вписать в свою историю *еще один* для *анекдота* пригодный эпизод: становой политических освобождал» («Ноев ковчег»).

Если рассмотрим другие сочинения Сейфуллиной, напр., повесть «Перегноя», так восторговшую критиков, то увидим, что революция в понимании писательницы состоит из веселых, что еще полбеда, но чаще всего, что гораздо хуже, из *скверных* анекдотов. Прежде всего, отнюдь не основной идеи «Перегноя». Эту идею, идеологическое зерно «Перегноя», критика странно проглядела, восхищаясь предсмертной молитвой Артамона: «Господи батюшка, прими дух большевика Артамона». Между тем основная мысль, ясно выраженная в самом заглавии повести, была заложена уже в «Правонарушителях», в словах милиционера, конвоировавшего беспризорных:

— «Ну, какие из вас люди вырастут, как вы сизмальства под конвоем. *Навоз* вы, одно слово. И на что вас рожали »...

И в заключительных строках «Перегноя» устами «пророка» Ивана Лутохина автор еще раз подчеркивает свое отношение к большевистскому перегною:

— Земля нынче хорошо родит. *Большевиками унавозили*. Естественно, что при таком понимании роли крестьянина в революции, центральное место в повести занимают анекдоты, особенно два из них, поданные с грубым, намеренно подчеркнутым натурализмом, это: описание изнасилования Софроном учительницы и убийство доктора и его жены тем же Софроном.

Вот несколько строк из сцены изнасилования (не говоря о неудобочитаемом диалоге):

«Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломили ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уррнул опять на пол и, разрывая платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом».

Опасаясь, что Арцыбашев позавидует обстоятельности и красочности описания; сомнительно только одно, надо ли, в самом деле, снабжать избыточными такой литературой в «сотнях тысяч экземпляров», как советует авторитетный критик. А ведь этот же критик говорит о Сейфуллиной:

«Художественное дарование Сейфуллиной несомненно идет от Толстого к Толстому. Ее свежесть и оригинальность в том, что она пишет, как писала бы новая послеоктябрьская женщина-крестьянка новой деревни» (А. Воронский. «Красная Ночь»).

Бедный Толстой! Но ведь на Толстого-то валить можно, он не откликнется, разве только перевернется в гробу. А вот, что скажет послеоктябрьская жнецина?

Эти два анекдота—изнасилование и убийство,—отнюдь не типичные о страданиях интеллигенции в революции, беспримерно растянуты (картине изнасилования посвящено добрых две страницы) и использованы писательницей для иллюстрации основной мысли произведения, так же, как и описание самосуда над купцами. Чего же в самом деле ждать от мужицкого перегноя, насилующего учительниц и убивающего доктора по нелепому подозрению в использовании громомовода для переговоров с белыми? А далее идут анекдоты веселые про наивную «детную» библиотекаршу, про драку баб с начальником милиции: «Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет».

В «Печати и Революции» обозреватель пишет, что Сейфуллина показала революцию в «крестьянском облики». Но кроме серии веселых анек-

готов читатель найдет в «Перегно» только подчеркивание отрицательного явления, как Софрон «впивал яд командирства». Кроме неясно очерченного сына Софрона, Ваньки, и типа инструктора, положительным моментом является в «Перегно» картина работы крестьян в поле «коммуной». Но по существу коммуна здесь не при чем. Работать миром, это не ново для русского крестьянина, и поэзия работы сообщая, данная Сейфуллиной в «Перегно», насыщена пафосом обычного труда, опозитивированием крестьянского «мира» и отнюдь не является картиной коммунистического трудового творчества. Революционное пробуждение деревни, крестьянская стихия революции в изображении Сейфуллиной не выдерживает сравнения с подобными же картинами кисти Неверова. Софрон из «Перегно» глубоко и невыгодно для себя отличается от неверовского Андрона Непутевого. Когда плуг революции врежется в деревню, мы видим в изображении Неверова, как расслаиваются отдельные общественные пласты в крестьянской среде. Особенно это разительно сказывается в подходе к женщине. Сейфуллина живописует слепой бабий бунт, у Неверова (мы говорим пока только об Андроне Непутевом) женщина растет на глазах и сбрасывает с себя бабье обличье. Неверов художественно показывает расхождение семьи и рождение нового человека. И в Андроне ярко обрисовывается прежде всего творческая хватка революционного крестьянства, четкая формула: «жалеть нельзя и не жалеть нельзя» охватывает всю сложность происходящего в крестьянском сознании процесса. Не то в сочинениях Сейфуллиной. Читатель не видит широких пластов крестьянства, под кистью писательницы деревня приобретает черты хаоса, и в этом хаосе действуют единицы, сплетается цепь случайных, внутренне не оправданных событий, мелькающих над серой бездной причинно не связанных явлений, на тусклом фоне, сулящем неожиданности. Едва только писательница зарисовала в «Перегно» первую зыбь революционно зашевелившейся деревни, как неизвестно откуда появляются казаки и чинят смачно расправу, хроникерски регистрируемую писательницей. Стоит сравнить конец «Перегно» с описанием гибели большевиков в заключительных страницах романа Неверова «Гуси-Лебеди», чтобы увидеть разницу между авторами, разницу и в дарованиях и в силе изобразительности и в глубине идеологического понимания изображаемых событий. Конец героев Неверова полон захватывающей динамики, силы, революционной страсти, насыщен творческим пафосом борьбы. «Только Синьков упорно не хотел умирать. Бросив ненужную бльше винтовку, для которой не осталось ни одной пули, с револьвером в руке, летел он, подхваченный невидимой силой—стальной, несокрушимый, широко разинув задохнувшийся рот. Над головой его тонко попискивали пули, под ногами горела земля в кровью налитых глазах, но он не хотел умирать. Когда быстрее, чем в одну секунду, на последней черте между жизнью и смертью, его озарило мужество отчаяния, он быстро повернулся лицом к догоняющим, машинально без цели выстрелил и—не видел, как молодой уральский казак выбросил поводья из рук, опрокинулся... Опять бежал Синьков, но бежать было некуда»...

А вот конец «Перегно». «Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли»... «на расправу вытащили»... «растоптали сапогами»... Не надо особенной проницательности, чтобы оценить идеологический смысл и глубину этого стиля: «главарей... переловили». Также замечательны по стилю и по языку заключительные строки:

«Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб Жигановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни»...

Нам думается, что ни один даже плохо грамотный рабкор не позавидует этому стилю. В самом деле, какой тоской репортерской заметки

веет от этого «страшного» (!) лица деревни, какая бедность изобразительных средств: «семьи большевистские вырезали». И думается нам: сколько начинающих прозаиков изуродует свою работу, внимая восторгам критиков по поводу «прекрасного языка» и одновременно их настойчивым призывам к учебе у культурных мастеров «полнокровного искусства». Характерно, что сухое протокольное описание расправы над большевиками—это заключительный аккорд наиболее крупных произведений писательницы, так оканчивается «Ноев ковчег», «Перегной» и преславленная «Вириanea», где опять в заключение откуда-то появляются казачки, облегчая работу автора, который положительно не знает, что делать ему с героиней, вступившей, наконец, после долгих стараний автора, на стезю добродетели. Остановимся на этой повести, зачисленной критикой в шедевры. Критика, признающая «Вириanea» крупным произведением, все же отмечает, что эта повесть не является широким полотном, т. к. в центре сочинения лежит «личная драма Вириanea» («Печать и Революция» № 1, «Обозрение»). Здесь писательница еще дальше от понимания революции, нежели в «Перегное», революционные события искусственно пристегнуты к истории Вириanea. В целом эта повесть состоит из двух неравных частей, из растянутого анекдота о неудавшемся «святителе» Магаре и рассказа о жизни самой Вириanea. Пресловутый «сказ писательницы» (см. там же «Обозрение») далеко не является выдержанным и цельным, прежде всего он местами переходит в повествовательный тон посредственной прозы, особенно там, где прорывается отношение автора к героям, это отношение к главной героине приобретает к концу повести все черты сентиментальности, когда писательница именует Вириanea уменьшительным именем Вирки. Вириanea даже рождает, с помощью автора, не так, как все женщины, но, окруженная ореолом дамского романтизма:

«И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга».

В этом пункте, в отображении стихийных, биологических сил, радостей и болей плоти, корнями художнического мировоззрения Сейфуллина преемственно примыкает отнюдь не к Толстому, а к Арцыбашеву и Вербицкой, особенно в зарисовке сцен любви. В области формы частые *глагольные окончания фраз* и употребление таких штампов книжного языка, как «черным холодным крылом в мозгу мысль» или «ощущала ясно и радостно крепкое тело свое», также не говорят о близости языка сочинений Сейфуллиной к языку произведений Толстого. Мы не будем пророчествовать, куда идет писательница, но исходит она в наиболее законченных и выразительных своих произведениях, в их положительных сторонах, не от Толстого, а от М. Горького. Возведенная в шедевр «Вириanea» поражает зависимостью от «Мальвы» Горького. В лучшем случае Вириanea это Мальва, эволюционировавшая в сторону большевизма, как прирожденная бунтарка, протестантка, ненавидящая людскую фальшь.

Героиня из повести Горького, подобно героиням Толстого, не представляет себя читателю: вот я какая, извольте любить и жаловать. Мальва говорит ясно о качественной окраске своих переживаний, о своем внутреннем состоянии, просто и определенно: «*никого не боюсь*». А Вириanea и в этом монологе и на протяжении повести не раз рекомендует себя: «*я бесстрашная*», «*мужичка коренная*», когда ее побили мужики, она считает нужным раз'яснить «*за правду били*», «*за жалость к нашему мужичьему положению*». Вириanea не только рассказывает о своих добродетелях, она часто и длинно проповедывает, то пристающим к ней ухажерам, то мужикам, она же и пророчествует. Говорит она Павлу: «*Не сносить тебе головы. На такую линию выпшел. Нет, чую не сносить*». Вириanea-Мальва, как тип, правдоподобна и близка к живому образу, пока она остается Мальвой, как только же, по ходу повести, она начинает развиваться в сторону Павла Суслова,

черты ее бледнее и теряют убедительность. Перо начинает изменять писательнице, когда она приступает к изображению живой большезвички, потому что в своем художественном арсенале она не находит для нее красок. И большевик Суслов также едва только намечен в повести. О Павле Сулове мы находим обычные у Сейфуллиной сухие хроникерские замечания: «коноводом стал», «главным в волости утвердился»; он, лежа в постели с Вириной, «про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал». Все это опять-таки художественно не показано, а рассказано, неубедительно и как-то *несерьезно*. Еще менее показана гражданская война, фронт, борьба, увлекающая Вириной и Сулова. Мы говорим, конечно, не о батальных картинах, а о том, что художником не прочувствованы классовые битвы, в близости фронта к месту действия не верится, потому что трудно поверить этим монотонным, не по-русски звучащим сообщениям автора.

«Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких (?) надавали. На волость даже (!) нападение было. Отбились (!). Но зимой война настоящая (!) разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались».

Где уж там о боях говорить, когда для благополучного окончания повести приходится прибегать к лубочному «рыжеусому казаку» и «чернявому офицеру».

Второстепенные герои повести очерчены более живыми и близкими к действительности чертами, нежели мелодраматическая, в лучшем случае романтическая, Вириная. Таковы женские типы: Анисья и Дарья, а из мужских: Магара, Василий и Сулов. Женские типы крестьянок лучше всего удаются писательнице. И вот одним из поразительных по отсутствию объективности, если не по намеренному извращению истины, является следующее утверждение обозревателя в «Печати и Революции».

«Вириная—очень редкий, еще почти не показанный в нашей литературе тип новой деревенской женщины (аналогичный встретается, *кажется*, только у Неверова), непохожий на традиционную забитую, жалостливую, терпеливую бабу» (подчеркнуто нами. Г. Я.).

Это—«кажется»—бесподобно. Неужели критик полагает, что читатели его статьи не читали Неверова или страдают такой же странной забывчивостью памяти, как и почтенный критик. Через большинство произведений Неверова проходит целая галерея ярких художественных образов новой женщины. Стоит назвать Марью-Большевичку и героиню прекрасной «Польки-Мазурки», или скульптурные образы героинь пьесы «Бабы и романа «Гуси-Лебеди». Но не только у Неверова подлиннее большевички, крестьянки и работницы живут в художественных отображениях современных писателей. Вот хотя бы Марина в «Огненном коне», Даша в «Цементе» Гладкова, Алена и Фенька в рассказах В. Бахметьева, Олимпиада Вс. Иванова. Следовательно, и здесь писательница ничего нового не дала, потому что образ новой женщины был уже до нее художественно показан и талантливо показан. И, в связи с этим показом, эти писатели художественной трактовкой вопросов любви, новых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, отображением стихийных сил жизни, власти и силы плоти гораздо ближе к Толстому, нежели Сейфуллина.

Провинциализм формы и содержания в сочинениях писательницы, серая посредственность повествовательной прозы наиболее сильно сказывается в повестях: «Четыре главы» и «Путники». Для того, чтобы читатель составил себе мнение «о Четырех главах», отсылаем его к любому роману Вербицкой, отметим только, что чахоточный барин из «Четырех глав» повторяется в типе Василия, любовника Вириной. О стиле «Путников», главное действующее лицо которых эсер Литовцев, невыносимый по своей глупости,

дает представление следующая любовная сцена. Когда Елена повздорилла с Литовцемым, у нее «дрогнуло сердце».

— «Александр! Саша, Саша, подожди!» Повернулся, подошел. Всю согрел яркой радостью глаз.—«Милая Аленка! Прости меня... Я люблю тебя. Я не могу без тебя... Целовал, как пил. Не отрываясь. Сжимал... и т. п. Но героиня не успокаивается:— «Саша, Саша!.. Я не могу без тебя... Возьми меня к себе... Без венчанья. Мне ничего не надо. Возьми хоть кухаркой, только бы с тобой, около... Я так тоскую, так беспокоюсь. Никогда не знаю, придешь ли... Я изнервничалась. Ну, кухаркой возьми».

Желанья героини, конечно, исполняются, т. к. эсер Литовцев благополучно улепетывает от красногвардейцев.

Как видит читатель, это типический букет провинциальной литературщины: здесь есть все, кроме искусства. Лучшие места в повести (это растянутая повесть, а не роман), где *говорят* красногвардейцы.

Для характеристики тех недоразумений, которые, к сожалению, довольно часто случаются с нашей критикой, нам придется остановиться немного на некоем человеческом документе, уродливо повторяющем ошибки критических дирижеров. Как это ни странно, статья появилась в журнале «Молодая Гвардия» и носит эффектное заглавие: «Сермяжный язык». В начале этой, редкой по безграмотности, статьи, которой, повидному, не касался редакторский карандаш, очень странно определяются задачи литературного исследования. Идея произведения—это, оказывается «мораль, во имя коей автор строит свою художественную вещь», содержание приравнивается к фабуле, о сюжете ни слова и т. п. Несмотря на весь сумбур мыслей и стиля, автор верно определяет основную идею «Перегноя», или, говоря его языком, «реакционную сущность» этой «эсеровской поросли». Но, увы, отметив, что «наша критика захлебывается от хвалебных песнопений по адресу Сейфуллиной», автор «Сермяжного языка», озабоченный, по его словам, «бешеным успехом» «Перегноя», не избег участи критиков, захлебнувшихся водой собственных писаний. Восторгаясь языком Сейфуллиной, наш критик пускается в глубоко-мысленные рассуждения о психологии буржуа, у которого «непрерывный ряд психических напряжений «достиг ныне своего апогея». Какая редкая проникновенность! Неизвестно, впрочем, какое это имеет отношение к делу, но в результате, в «Перегное» оказываются необыкновенные вещи, а именно: «унисонирование формы и содержания» и «деятельность (?) самого (!) содержания». Мало того, здесь «идея формировалась в процессе творчества. Это чувствуется по ходу рассказа»... Просто диву даешься, о чем думал т. Андрей Хмара, когда писал эти строки и для кого он их писал, и какие еще другие способы формирования идей он знает, как не в процессе творчества. Ценность писательницы он определяет в следующих словах:

«Сейфуллина—писательница не столько революционного действия, сколько революционного и детского быта, бытовых *крестьянских и мещанских сцен, обывательского брозжанья*».

Казалось бы, чего же больше, кто еще из писателей приближается к этой вполне правильной, отрицательной оценке? Мы, конечно, оставляем в стороне стиль этой формулы и странное разделение *действия* и *быта* революции. Оказывается, отрицательная оценка сочинений Сейфуллиной относится к ее работам до появления «Виринеи». С момента появления «Виринеи», как по магию магического жезла, происходит волшебная перемена. «Виринея-бунтарка», «Виринея-борец», «с железными мускулами», «этот образ организует общественную мысль за (?) разгром старой доктябрьской морали». Повесть—это «большое полотно доподлинной революционной деревни». Автор заявляет, что

«с величайшим вниманием следит вся культурная Россия за развертыванием таланта молодой писательницы, с сожалением

встречает марксистская часть (!) общества (!) всякое неудачное ее выступление (напр., «Губернатор»), всемерно поддерживает и солидаризируется с ней при преодолении каждого нового этапа по пути освоения (?).

В пылу восторга критик не рассмотрел *белых* ниток, которыми спита «Виринея», и заменил разбор этой вещи наивной народнической лирикой. Вот что происходит будто бы с критиком при чтении книг Сейфуллиной: «Читая их, чувствуешь сермяжный запах Руси, чуешь ее сермяжный зык (?). Спала сном вековым крестьянская Русь, травкой-муравкой порастала (!) и т. д. Право, испытываешь какую-то неловкость», наблюдая эти чувствительные излияния, несущиеся со страниц марксистского журнала.

Совершенно подобный, если не более разительный казус, произошел с критиком Я. Б. из «Сибирских Огней» (см. № 3). В статье «Через нелзя» Я. Б. приводит пышную связку цветистых благоглупостей, украшающих литературу Лидии Сейфуллиной. Находя в сочинениях Сейфуллиной, как положительные стороны, «культ хипной силы», «звериный примитив», «бабий бунт», «плеяду волевых женщин», Я. Б. чувствует, что его «акафисту» противоречат вопиющие недочеты сейфуллинского стиля. Я. Б. правильно отмечает:

«Чувство художественного вкуса и меры вообще (!) чрезвычайно часто изменяет Сейфуллиной. Вся повесть «Четыре главы» (вообще говоря, самая слабая из всего, что ею написано) точно создана для того, чтобы показать, каким проклятием тяготее над творчеством крупнейших женских дарований *бульварно-декадентский и бирюльечно-эстетический шаблон*. Чтобы выписать из нее места, *кричащие безвкусицей, надо было бы, пожалуй, переписать половину повести*» (подчеркнуто нами. Г. Я.).

И далее критик приводит грудю перлов литературного мещанства, характеризующих автобиографическую, повидимому, повесть и героиню ее, у которой «душа чешется», а у героя «взгляд прекрасный», «упрямый, взгляд человека»... «Пожалуй, не стоило бы демонстрировать эти цветочки» и «ягодки» чудовищной безвкусицы», говорит критик. Так в чем же дело, о чем толковать?

«Если бы»... тут читатель с замиранием сердца ждет, что, наконец-то, критик откроет ему *тайну (!) изумительно-цельного, зверино-человечьего жизнєвостриятия* Лидии Сейфуллиной». Увы! Что же оказывается? Не стоило бы разговаривать, «если бы»... в куче несуразностей и пошлостей... не тайлос великое обещание для творческой эволюции автора и неменьшее утешение для всех (?) начинающих писателей». Итак, не только горькое разочарование достается на долю бедного читателя, он шиплет себя: не сон ли это наяву? Нет, это напечатано в журнале «Сибирские Огни», а ведь до сих пор в простоте души вместе с читателем мы думали, что «обещание», да еще «великое», и «неменьшее утешение» могут «таиться» только в положительных сторонах творчества писателя, а не в отрицательных. Мы полагаем, что в рецидивах (пользуемся определениями самого же Я. Б.) «безвкусицы, вульгарности, риторики и сюсюканья» не может таиться ни обещания, ни утешения ни для автора их, ни для читателей, ни для писателей. Плох был бы тот начинающий писатель, который утешался бы чудовищной безвкусицей литературных рукоделий только потому, что после них писательница написала «Виринею». А ведь именно так рассуждает критик из «Сибирских Огней». Он говорит: «Достаточно вспомнить, что безманерный (?) *мелодраматический* конспект «Четыре главы» — написан за каких-либо два года до появления *из-под пера* того же автора такой густой, такой *своей*, такой высоко-мастерской «Виринеи»» (подчеркнуто у автора. Г. Я.) Для нас все же остается непостижимой тайной, как произошел этот фантастический скачок от густого провинциального стиля («сама Чарская поза-

видовала бы», говорит Я. Б.) к густой «Виринее», которая, по мнению критика, «дикий огромной скалкой (?) возвышается»... Не располагая доказательствами для обоснования своих восторгов, критик вынужден признать, что, в лучшем случае, «Виринея» — исключение среди сочинений писательницы. Он так и говорит:

«Большая часть героев Сейфуллиной, за исключением таких органически-монологичных, перенасыщенных горячею кровью образов, как Виринея, именно резонерствует, не ищет, не бьется, не терзается, не мечется, в крови и муках жизни рождая свою правду, а рассуждает, переходит от рацеи к рацею, от головного рецепта к головному рецепту» (подчеркнуто автором. Г. Я.).

Но в том-то и все дело, весь секрет в том, что «Виринея» не является исключением в ряду других сочинений Сейфуллиной. Вот почему критика так беспомощна в поисках достоинств этой повести. Вместо того, чтобы сказать, что повесть разваливается на куски, критик философствует о «двух потоках», о сюжетном «двоецентрии», которое «придает особую многозначительность глубоко задуманной композиции всей повести». Об'ективный разбор исполнения этого глубокого замысла заменяется высокопарной одой. Повесть «Виринея» — это, по его словам, на пути писательницы «момент художественной кульминации», «вхождения в силу», «в зенит». Хотя, к слову сказать, кульминация и зенит — это не одно и то же, но зато тут уже предел пройден, дальше идти некуда, выше зенита не прыгнешь. Оттого далее идет сплошная словесность: «сейфуллинский аромат», «бойкое сердцебиение», «внутряной, звериный и (!) человеческий порыв», — все это нужно для того, чтобы доказать, что писательница жаждет «шагнуть к солнцу, отзвенеть еще неслыханными песнями!»

Мы опасаемся, что все эти «неслыханные песни» современной критики по адресу сочинений Сейфуллиной возникли в результате, действительно, слишком бойкого сердцебиения и продиктованы недостаточной об'ективностью. Не то же ли самое произошло с профессором Фатовым, об'явившим на страницах «Молодой Гвардии» писателя Пантелеймона Романова не только равным Гоголю, Гончарову, Л. Толстому, Чехову, но даже выше их (см. книга 4-ая с. г.). Очевидно, не только с писателями бывают несчастья, но случается, и критики теряют «чувство меры вообще» и попадают пальцем в... зенит.

Нам кажется, что не следует забираться так высоко, а также тревожить тени классиков. Побольше трезвости и ясности мысли, но не той ясности сейфуллинского героя, у которого «ясно в мозгу — картинка» (см. «Путники»), а более приближающейся к истине.

Если верно наше утверждение, что повесть «Виринея» не является исключением среди сочинений Сейфуллиной, — это несомненно так, — то отпадает и легенда о резких колебаниях, неровностях художественного развития писательницы. По сравнению с другими растянутыми, художесными, третьесортными сочинениями, говоря приведенными выше словами критика, повесть «Виринея» представляет шаг вперед, но далеко не является выдающимся, первосортным произведением, прежде всего в силу общей слабости, неслаженности композиции, искусственно-приделанного конца, растянутых монологов, нарочитого натурализма, грубости языка и неестественного, бенгальского освещения главной героини. Сейфуллина, принадлежит к числу художников, пишущих «внутром». Когда она оперирует с хорошо известным ей материалом, напр., в «Правонарушителях», в «Ленинском сказе», в обрисовке женских типов, фотографически схваченные куски действительности подкупают читателя. Но стоит писательнице вступить на путь самостоятельного творчества, в области композиции и обрисовки хуже известных ей типов, напр., интеллигентов (учительница и доктор в «Перегное», интеллигенты в «Виринее»), где нужна художественная интуиция, а не нутро, там она беспомощна. Ходульные, бледные фигуры инженеров и начальников

в «Виринея» сами по себе, а героиня сама по себе; Виринея, кстати, настоящий сосуд добродетелей, она и «до романов охотница была» и «честного жителя» жаждала и т. п. Зная природу и психологию крестьянки, черпая материал, по преимуществу, из женского нутра, писательница поневоле суживает свой творческий круг. Это происходит потому, что только здесь она чувствует себя свободно. «Виринея» часто рассказывает о себе, много и длинно думает вслух на заданные автором темы. Это основное свойство сейфуллинских героев. Здесь их сила и слабость, стоит им перестать говорить — и в развитии произведения наступает тьма, хаос, ибо действием, движением не сильны эти герои. Прежде чем перейти жить к Павлу, Виринея ночью, очевидно, специально для критиков, занимается пантеистической философией и рассуждениями о смерти и жизни в торжественном стиле: «И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится»... Едва ли это похоже на гулящую бабу Виринею, хотя бы и читавшую книжки, ведь единственным, довольно неожиданным, результатом чтения романов, по ее же собственному признанию, было увлечение ее первым любовником, чахоточным Василием. Сопоставляя стиль сочинений Сейфуллиной с близкими им по форме и содержанию душевспасительными книжками Чарской и Вербицкой, а затем непосредственно переходя к восхищению «тайной» «зверино-человечьего» жизнеспособия, наши критики (а как раз этим последним делом они все занимаются с поразительным однообразием) упускают из виду очень важное обстоятельство. И Вербицкая и Арцыбашев были также одаренными художниками и прекрасно знали тайну «зверино-человечьего», т. е. зоологического отношения к жизни и в этой зоологии, соответственно высшей или низшей ее ступени, и заключался секрет их успеха. Более примитивная зоологически и художественно Вербицкая пользовалась большим успехом, нежели Арцыбашев. Последний был талантливым художником с острым творческим глазом, но это был очень некультурный писатель, с низким интеллектуальным уровнем. Успех сочинений Сейфуллиной в значительной степени создается за счет той же зоологии и духовного примитива «ясноокого дикаря», усиленно призываемого ныне в литературу критиком Правдухиным. Существенным отличием Сейфуллиной от ее предшественников является ее стремление, особенно в повести «Виринея», подвести широкую социальную базу под зоологический примитив, большевизировать его и нарядить в соответствующие эпохе идеологические одежды. Эта повесть только и ценна, как попытка решения подобной задачи.

ГЕОРГИЙ ЯКУБОВСКИЙ.

Отзывы о книгах.

С. Под'ячев.—«Разлад», рассказы. Предисловие Н. Смирнова, 2 изд. «Известий ЦИК СССР и ВЦИК». М. 1925. Стр. 134. Тир. 8.000 экз. Ц. 85 к.

Его же.—«Среди рабочих», повесть. Изд. то же.—М. 1925. Стр. 136. Тир. 6.000 экз. Ц. 85 к.

Я бы сказал, что Под'ячева замалчивают. Между тем, среди прочих современных крестьянских писателей он безусловно заслуживает внимания. Многих из них он крепче и жизненней. К тому же у него совсем нет того пейзажного взгляда на деревню, которым, увы, страдают многие крестьянские писатели.

Крестьянство, его быт и отношения он берет такими, какие они есть на самом деле, вернее были, ибо обе эти книги рассказывают о деревне до-Октябрьской.

Разве в чем и можно упрекнуть Под'ячева, так это именно в излишней объективности, временами доходящей до простого стенографирования.

Он мало, или совсем ничего, не выдумывает, а лишь записывает просто и верно все, что видел, слышал и испытал.

Основная черта этих двух книг—их биографичность: в «Разладе» рассказывается виденное, в повести «Среди рабочих» испытанное.

Обе книги посвящены крестьянству. Четыре рассказа первой из них—деревенскому его быту, за исключением последнего, частично захватывающего город и фабрику. Вторая книга выводит крестьян из своей деревни на летние заработки,

но выводит не в город, а в ту же деревню, в монастырь, к помещику.

Быт, изображаемый автором, темен и дик: в каждом рассказе—беспросветное пьянство, ругань и драки, редко не кончающиеся убийством.

Но такова была деревня в те времена и описание ее Под'ячевым вернее легенд о слюнявых пейзажниках в чистых портках и лэптях, завязанных ленточками.

Наиболее сильной вещью этих двух книг следует считать «Разлад», последний рассказ первой книги, давший ей и общее заглавие.

Он выдержаннее и сделан глаже и интересней, чем другие вещи. Весь рассказ, повествующий о пегорельце Маркеле, жизни его на фабрике, уходе от жены и работе в деревне у богатого мужика, убивающего своего сына—«забастовщика», построен на диалоге,—любимом приеме автора, пользующегося им широко и достаточно свободно, несмотря на трудности деревенского языка.

В этом отношении и рассказы и повесть, развернутые диалогами, могут быть легко переделаны в драму. Описаний у автора мало, он так же на них скуп, как драматург на ремарки, и в описаниях его, после крепкого мужицкого языка, проглядывает слабость и неопределенность.

«Среди рабочих»—большая повесть автобиографического характера, рассказывающая о странствиях автора и работе его у разных хозяев: у помещика, в деревне, в монастыре. Она несколько растя-

нута и написана более вяло, чем «Разлад».

Пишет Под'ячев просто и поэто-му он понятен каждому, даже тому, кто только что научился читать. Для масс его книги ясны и близки.

Предисловие, написанное к первой книге Н. Смирновым, следовало написать более сдержанно, ибо похвалы расточаются им в таком количестве, что теряют всякую цену и даже становятся не только не лестными, но и вовсе не похвальными.

В повести «Среди рабочих» сбивает подзаголовок—«том второй». Но пусть читатель не утруждает себя поисками первого тома этой книги, ибо его совсем не существует; подзаголовок относится к собранию сочинений Под'ячева, выпускаемых «Известиями», в котором «Среди рабочих» идет вторым томом.

Но о «собрании сочинений» по причинам неведомым и непонятым в обоих книгах не сказано ни звука.

Борис Анibal.

Дм. Фурманов. 1. Чапаев. Предисл. А. Луначарского. ГИЗ. 3-е изд. 1925 г. Стр. 216. Тираж 15.000 экз. Цена 1 р. 25 к.

2. Мятлев. Предисл. А. Серафимовича. ГИЗ. 1925 г. Стр. 270. Тираж 7.000. Цена 2 рубля.

Как художник, Фурманов — не великий талант. Его слог порой слишком наивен, чтоб не сказать—примитивен. Постоянная, честная и искренность—эта основная черта Фурмановского письма—при всех своих несомненных достоинствах—не может все же заменить художественности; последняя у Фурманова встречается, сравнительно, редко.

Однако, несмотря на это обстоятельство, Фурманов читается с огромным, с исключительным интересом. Очевидно, что замечательные «приемы» автор удачно заменяет чем-то другим, что отнюдь не менее значительно и привлекательно: он заменяет их захватывающим интересом самого «содержания», захватывающим интересом событий, рисующих во всей своей огромности боевые годы революции.

«Чапаев» — наиболее удачное произведение Фурманова. Это—

своеобразная мемуарная эпопея о суровой борьбе с Колчаком и уральским казачеством. Сам Чапаев, Вас. Ив., это—знаменитый командир железной «чапаевской» дивизии, при которой Фурманов состоял комиссаром. Наблюдая Чапаева каждодневно, видя его в бою и во время, свободное от боев, в горе и радости,—Фурманов сумел верно понять и описать этот характер, сумел дать тип простонародного, вышедшего из низов красного полководца.

Рано выгнанный деревней на заработки, Чапаев был словно рожден для войны. Он не мыслил себя вне грома орудий: с 1914-го года не снимал ружья, заслужив в империалистическую все 4 Георгия. С 1918-го он—красный боец.

Почти безграмотный, он обладал, однако, большим и ясным умом, чутьем верно сжатым самую тяжелую военную обстановку и, отличаясь необыкновенной храбростью, всегда лично находился в самых опасных местах. Трагическая гибель в борьбе с уральскими казаками встала его уже в ореоле славы, окруженным легендами и подлинной любовью всего окружающего крестьянства, не говоря уже о войсках.

Несомненно,—такая личность, как Чапаев, интересна и заслуживает внимания. О таких можно и стоит писать. Однако, «Чапаев» не был бы—«мемуарной эпопеей», будь это только лишь записки о жизни лично Чапаева.

Фурманов не впадает в эту узость и, рисуя Чапаева, дает больше, дает широкую картину гражданской войны вообще. И это достигается не только тем, что в книге много интересных описаний крестьянства, армии, казачества, разоренных деревень, жестокостей и пр. Это достигается также и тем, что сам Чапаев, собственно, тоже—больше чем личность. Его постепенное и беспрестанное подчинение воле партии, его общий культурный рост, это—показательный и типичный процесс,—процесс плодотворного подчинения анархическо-партизанского крестьянства организованной воле пролетариата. Это тот процесс, который сделал возможными

победу крестьянства и победу революции вообще. Верное и глубокое понимание личности дает больше, чем личность, дает — т и п; так, в обрисовке глубоко понятой, центральной личности может заключаться законченная эпопея.

«М я т е ж», — сравнительно, менее значительное произведение, нежели «Чапаев». Однако и эта книга несомненно интересна и заслуживает большого внимания.

«Мятеж» рисует далекий, почти забытый в нашей современной литературе край — Се м и р е ч ь е. В марте 1920 г., когда там еще бродили, во главе с Анненковым, Щербаковым и др., последние остатки белой армии и весь край еще глухо волновался, — Фурманов был послан туда в качестве уполномоченного по области от Реввоенсовета фронта.

«Мятеж» отчетливо делится на две, не совсем связанные части. Первая кажется нам наиболее интересной. Она рисует путь через весь край, захватывая быт и обстановку того времени: нищенство киргизов, недовольство русского кулачества и казаков, боящихся передела, недовольство войска, состоящего из местных жителей и требующего демобилизации, разоренность края, наконец — историю революции в Семирежье. 2-я часть — более узка. Она представляет самый «мятеж» — восстание нескольких батальонов — всего наличия военных сил края. Благодаря редкой и стойкой мужественности «центровиков» — высшего состава Семирежья, — восстание удаётся почти бескровно ликвидировать.

В книгах Фурманова много публицистики. Автор подчас делается агитатором. Несомненно дело художника — убеждать образам и. Однако у Фурманова публицистика все же — на месте. Во всяком случае, ее можно оправдать. Плеханов говорит, что существуют эпохи, когда «публицистика» неудержимо врывается в область художественного творчества и распоряжается там, как у себя дома. Очевидно, произведение Фурманова — законные детища именно такой эпохи.

И. Машбиц-Веров.

Леонид Леонов. 1. Рассказы. Изд. «Круг» 1925 г. Стр. 196. Тираж 7.000. Цена 1 р. 25 к.

2. Барсуки. Ленгиз. 1925 г. Стр. 306. Тираж 7.000. Цена 2 руб.

Путь развития Леонова — путь долгой и нестойчивой учебы. Начав с философски-фантастической полусказки «Бурьга», хранящей очевидные следы влияния Андреева, — Леонов в дальнейшем выпустил ряд рассказов: «Петушкинский пролом», «Гуатамур», «Гибель Егорушки», «Записи некоторых эпизодов», «Конец мелкого человека»... Два последние рассказы и составляют рецензируемую книгу («Рассказы»). Все перечисленные рассказы отличаются неизменной талантливостью, но столь же неизменной — по общему признанию критика — подражательностью. Леонов все не находит своего собственного лица, хотя удивительно мастерски подражает ему: Ремизову («Петуш. пролом»), Достоевскому («Конец мелк. челов.»), Достоевскому + Гоголю («Записи некотор. эпиз.»). В некоторых местах автор достигает апогея подражательности, приближаясь к подлиннику; но это все, конечно, никак еще не было — собственно «Леоновским».

«Барсуки» — переломный пункт. Правда, и здесь еще много странни, особенно в 1-й части романа, — полнокровные описания старого торгового Зарядья, — напоминают столь же полнокровные и яркие описания нижегородского купечества молодым Горьким («Фома Гордеев»); можно также найти (и некоторые не находят) влияние Толстого; однако, в общем и целом, Леонов уже начинает в этом романе выявлять свое собственное, — индивидуальное, — лицо, свой стиль. Стиль этот еще не совсем ясен, еще трудно уловим. Но он несомненно идет по верному и плодотворному пути крепкого и уравновешенного реализма, без смакования почти-самовитого слова (Ремизов), без эксцентрически-неуравновешенных, «изломных» моментов (Достоевский), вряд ли способных передать нашу суровую и трезвую современность.

Параллельно с формальным ростом видим также в Леонове и дру-

гое важное изменение: непрерывное приближение к современности. Начав с фантастически-мечтательной полусказки «Бурыга», через стилизованную и историко-фантастическую повесть «Туа-замур» и мистико-стилизованный сказ («Петушкинский пролом», «Гибель Егорюшки»),—Леонов пришел, наконец, к реальной жизни и современности. В «Записях неслоторых эпизодов»—уже берется реальная жизнь провинции; но события доводятся только до преддверья, до первых, начальных революционных сдвигов. «Конец мелкого человека»—берет уже специально революционный быт — голодающую Москву. Однако, в «Конец мелк. человек.» — революция получает какое-то странное, чужое и случайное освещение: она представлена сквозь кривое зеркало взынченного сознания группы ученых, — древних профессоров, засыпанных обломками революционных разрушений. «Барсуки» в этом отношении — поворотное и показательное произведение. Здесь Леонов подходит к революции вплотную, берет ее во весь рост.

«Барсуки» — роман, нашумевший в последнее время. Несомненно, это — явление интересное и значительное в нашей литературе. Роман рисует жизнь двух братьев, крестьянских сыновей, подростками попавших в Москву — на службу к Зарядинскому купцу. Семен так и остался «приказчиком», пока не угодил на фронт в империалистическую войну. К городу он сохранил острую и темно-несознанную обиду и ненависть... Пашка — другой брат — сделался рабочим и его жизнь потекла поному...

Во 2-й (и 3-й) части романа — братья встречаются. Семен с фронта вернулся в деревню. Он сохранил все ту же темную и острую ненависть к «гореду вообще» и теперь восстает против него, делаясь главарем партизанской шайки «берсуков»... Пашка — коммунист, и волей событий и ЦЕКА послан на усмирение брата... Роман дает широкие, порой удивительные по глубине жизненной правдивости картины из

быта крестьян и повстанцев, а в 1-й части также из быта торгового Зарядья. Два брата — Пашка и Семен — представляют два основных крестьянских течения: за и против революции, руководимой пролетариатом. Вероятно, для увлекательности в общую канву романа вплетается также широкой струей романтическая завязка. Но она, собственно, для внимательного и серьезного читателя уходит на 2-й план, оттесненная широким социальным захватом произведения. Сюжетный, крепко связанный и четкий, написанный прозрачной, так сказать, честной прозой, не прячущейся за отдельными удачными образами и «приемами» — роман «Барсуки» в целом — значительное явление. Правда, здесь нет еще «революционных будней», нет восстанавливающейся, уже неромантически выдбленной страны, т.-е. нет того, что стоит, так сказать, в художественной повестке дня и что, например, дано в другом наиболее выдающемся романе наших дней — в «Цементе» Гладкова. Но ведь и наша революционная эпоха — время гражданской войны — далеко еще не исчерпана. Роман Леонова займет в литературе о ней одно из самых почетных мест.

И. Машиц-Верв.

Александр Жаров. — «Ледоход». Стихи. Госиздат. 1925, стр. 131. Цена 1 р. Тираж — 5.000.

В предисловии к «Ледоходу» Жарова А. Луначарский правильно определил то основное общее, что роднит автора сборника с его «старшим другом» Безыменским. Безыменский и Жаров — пролетарские поэты второго призыва. Они встретили революцию не зрелыми, определившимися поэтами — они родились и росли вместе с ней, они ее дети. Поэтому, чуждые патетических и космических взлетов пролетарских поэтов Кузницы, они осязают, видят революцию в каждом куске жизни и быта, они чувствуют, как по-новому, революционно-остро «пахнет жизнь».

В поэзии Жарова сильны прежде всего крестьянские корни. В сборник «Ледоход», правда, сравнительно ма-

ло вошло стихотворений на деревенские темы («Вечер», «На покос», «Песня девушки»), но мужицкий быт часто подводно выплывает из стихотворной строки Жарова. Он заставляет поэта «видеть в небе праздник красной горки», слышать, как «блещет колокола» и «молотит сердце», верить, что «мы будем первыми, кто поставит трактор на межи». Благодаря деревне, летним работам, поэт сроднился с природой—он пришел в этот «переломленный на-двое мир» солнцезлазым парнем, «старым и добрым приятелем солнца». Он влюблен в апрель, «зеленоголовый» лес, и на митинге, поэтом названном,—«первый вопрос о весне».

В своих деревенских и солнечных темах Жаров всегда поэт Октябрьской революции, пролетарский поэт. Мотив ломки старого бытового Домостроя и стройки нового быта («Азиаты»—шаг к поэме), комсомольская цепкая хватка за жизнь; «крепко на плечи жизни усесться»—вот вторая характерная черта его поэзии. Красноармейцем, краснофлотцем победоносно прошел он годы гражданской войны и теперь, изглоданный тифом, у которого «Юденич дулей застрял в лопатке», может захлебнуться радостно, посылая звездам приглашение на прогулку (стих. «Вечер»).

Жаров много работает над стихом. Точные и свежие эпитеты (загорелая Южная Америка, очумелые ветры), хорошие рифмы, оригинальные и интересные образы: «завод в певучем содроганы разнокалиберную бранью пересыпает горизонт», или «свежестью раси санного ситца запылал обрадованный день»...

Убедительно-агитационно, призывно звучат его стихи, посвященные дням и вождям революции—«Либкнехт», «В рейсе», «Париж» и др. К сожалению, этого же нельзя сказать об отрывке из поэмы «Ленинград». Так же, как и вторая поэма «Азиаты», этот отрывок слишком фрагментарен, не доделан и не остр.

Издан Госиздатом «Ледоход» великолепно—красивая обложка, хорошая бумага. В книге есть опечатка (на стр. 24-й вместо «Молодые Гастевы радостно на стройку потеку»—надо читать «потекут»).

В. Красильников.

Курд Ласвиц.—«На двух планетах», фантастич. роман. Сокращ. и обраб. перев. с немецк. С. Парнок и Б. Горнунга, ГИЗ. 1925 ЛНГ.—М. Стр. 382. Тир. 5.200 экз. Ц. 1 р. 25 к.

На двух планетах—это, конечно, на Земле и на Марсе.

Марс для романистов стал таким привычным и насиженным местом, что путешествия на него, хотя и довольно далекие, они предпочитают всяким другим, в том числе и менее опасным, как, напр., на нашу соседку Луну, на которой они чувствуют себя не совсем уверенно.

При таком положении вещей Марс может потерять интерес для людей прежде, чем они успеют по-настоящему побывать на нем.

Курд Ласвиц, в свою очередь, совершил очередное путешествие на эту планету, путешествие не особенно удачное, которое едва ли может вызвать интерес как людей, так и марсиан, если последние действительно существуют и когда-нибудь прочтут эту книгу, чего мы искренне им не советуем.

Заглавие не совсем оправдывает роман: его следовало бы назвать не «На двух планетах», а «В Германии и на Марсе», ибо автор—добрый немец старого закала и выше всего ставит свой Vaterland, который и заслоняет собой не только все пять частей земли, но и весь Марс, включая оба его полюса.

Ласвиц даже ухитрился населить его аккуратными и деловитыми чиновниками и первое знакомство с марсианами начинается именно того, что «...чиновник (марсианский) ...стоял на наблюдательном посту...» (стр. 30).

Автор довольно подробно говорит о чиновно-бюрократическом протекторате Марса над Землей, в ущерб другим главнейшим задачам фантастических романов.

Так, у него весьма сильно хромает научная часть: говоря о марсианской технике, машинах и оружии, в большинстве случаев он ссылается на так называемые «особые приспособления», прикрывающие отсутствие знания, изобретательности и воображения, что для фантастиче-

ского романа совершенно убийственно.

Философия, придуманная им для обитателей этой планеты, философия бескостная, в тумане которой путается сам Ласвиц.

Отдельные приемы письма наивны: так, знакомя читателя с жилищем марсиан, в первой же строке он говорит о комнате «отделанной в марсианском вкусе» (стр. 35).

Но что же это за «вкус», если о нем читателю решительно ничего еще неизвестно?

Неудачно и то, что марсиане сначала описываются от имени автора. Людям, столкнувшимся с ними, ничего не остается прибавить к этому. Любопытного преломления культуры Марса, впервые воспринимаемой людьми, не дано. Все рассказано просто и грубо самим Ласвицем, от своего имени.

Неплохо задуманы первые главы, повествующие о том, как три немца, первые из людей, достигшие северного полюса Земли, наткнулись там на Марсианскую колонию.

Есть и другие интересные места, но все это лучше задумано, чем выполнено. Любовная интрига, влезающая в роман, взята слабо и герои не имеют цельного облика.

Любовь между немцем Зальтнером и марсианкой Ла,—пожалуй, прообраз «Аэлиты», ибо «На двух планетах» — роман древнейшего происхождения, судя по тому, что изображенные в нем люди передвигались по воздуху допотопным способом—на воздушном шаре—и ничего не знали о радио.

После «Борьбы миров» Уэллса эту книгу читать трудно, наши читатели знают о Марсе и больше и лучше Ласвица.

Как и следовало ожидать, роман кончается к общему благополучию: все, кому надо, женятся, и марсиане вступают в дружественные сношения с людьми.

Автору не доставало упомянуть только о том, что добрые немцы угощают марсиан пивом.

Франк Норрис. — «Спрут», роман. Изд. «Мель». Ленинград 1925 г. 352 стр.

Рецензируемый роман написан много лет назад известным американским писателем Франком Норрисом, принадлежащим к тому самому буржуазному обществу, представители которого являются главными действующими лицами «Спрута». И тем не менее книга свидетельствует о том, что близкая автору среда болеет тяжким недугом разложения; в ее сердцевине происходят смертельные процессы борьбы и взаимного уничтожения. Борющиеся силы—фермеры, с одной стороны, и владельцы железных дорог (они же владельцы земли, арендуемой фермерами), с другой стороны. Путем повышения арендной платы и удорожания железнодорожного тарифа вторая группа стремится перевести в свои карманы барыши «землеробов». На этой почве происходит ожесточенная схватка. В оборот пускаются всевозможные средства, шпионаж, взятки, убийства, лишь бы победить противника. Характерно при этом, что алчная борьба расслаивает не только интересы буржуазии, как класса, на враждующие меж собою единицы, но и буржуазная семья под влиянием этих раздоров распадается на два непримиримых лагеря. Деррик—отец возглавляет фермеров, Деррик-сын отстаивает интересы железных дорог. В происходящем поединке автор на стороне фермеров и вот что он говорит о своих врагах, олицетворяющих хищную, денежную мощь Америки, устами поэта Превелая:

«Они владеют нами, наши опекуны, они владеют нашими домами; в их руках наше законодательство. От них нет спасения, им нет возмездия. Нам говорят, что мы можем бороться с ними избирательной урной—они завладели урной. Мы знаем, кто они—разбойники. Разбойники в политике, разбойники в финансах, разбойники в законодательстве, разбойники в торговле, лиходеатели, плуты и мошенники. Нет того мелкого воровства, которое устыдило бы их; они грабят государственную казну на миллионы

долларов и тащат из кармана рабочего стоимость ломтя хлеба. Они выманивают у нации сотни миллионов и называют это управлением финансами; они устраивают шантажи и называют это коммерцией; они подкупают судей и называют это законом; они нанимают плутов для выполнения своих планов и называют это организацией. И это Америка. Мы сражались за свое освобождение, но ярмо осталось... И мы говорим о свободе! О, какое шутство, какое безумство! Мы говорим и повторяем нашим детям, что мы добились свободы, что нам не надо больше бороться за нее. А борьба только начинается...

Такова оценка капиталистического мироустройства, произведенная человеком чуждой нам среды, и тем внушительней его обвинительное слово.

Существенно дополняет характеристику американской буржуазии, сделанную поэтом Презелеем, выпад оболенного Деррика-сына против фермеров:

«Разбойники,—кричал он на пороге.—Разбойники, мошенники! Обделяйте свои грязные делишки теперь сами. Довольно с меня. Как это вы вдруг заговорили о чести?! (Речь идет об измене Лаймана Деррика фермерам ради личной карьеры, связанной с интересами железнодорожных капиталистов.) Вы не так были чистоплотны в Сакраменто перед выборами. Как была выбрана комиссия? Я лихоимец? Хуже взять взятку, чем дать?! Спросите Магнуса Деррика, что он об этом думает. Спросите его, сколько заплатил он демократическим пишкам в Сакраменто за выборы»...

Выходит, следовательно, так, что спорящие стороны друг друга стоят.

Помимо отмеченной нами основной тематической линии романа, в «Спруте» имеются превосходные жанровые картины. Автор любовно и метко останавливает свое внимание на сильных, живых и близких к природе фигурах мелких фермеров. Много страниц в романе посвящено любви, овеянной простодушной женственностью и жизнерадостным мужеством. Детальнейшим образом выписана жизнь крупных поместий—и плохие и хорошие стороны не

ускользнули здесь от глаза Норриса. Рабочая же жизнь, как и подобает буржуазному писателю, эгзотизирована, эпизодически. Правда, романист со страдательно показан нам несправедливо уволенного со службы машиниста Дэйна, без всякой вины выгнанного из «хозяинского» дома батрака Деламея. Но изображение этих лиц недостаточно глубоко и внимательно мотивировано. Ни классового, ни психологического фундамента этих персонажей романа автору нащупать не удалось. Но не будем требовать от человека того, чего он дать не может по классовой своей природе. Нам остается сказать еще несколько слов о формальных достоинствах и недостатках романа. Написан «Спрут» в здоровых реалистических тонах. Язык образен и прост. Действие со стремительной динамичностью нарастает от первой до последней страницы. При умении распоряжаться большим количеством фигур, Норрис стягивает сюжетную разветвленность своего произведения в единый крепкий узел тематической монолитности.

Некоторые сцены романа отдают приторной мелодраматичностью, подогреты авантурным трюкизмом. Оба эти недостатка слегка снижают достоинство романа.

В общем и целом роман Норриса может быть прочтен с пользой и интересом.

Федор Жуц.

Георгий Горбачев.—«*Очерки современной русской литературы*». Второе, дополненное издание ГИЗ ЛНГ 1925 г. Стр. 218. Тир. 7.000 экз. Ц. 1 р. 20 к.

Вот еще серия критических очерков о новейшей русской литературе, автор которых старательно пытался объяснить—и, главным образом, самому себе,—некоторые литературные факты, но объяснение это, хотя и сделанное своими словами, не открывает ничего нового.

▲ Очерки написаны довольно вяло и вызывают много возражений.

Прежде всего: почему материал расположен так, что Тихонов идет раньше Маяковского и Эренбург предваряет Толстого, а не наоборот?

Почему бы не расположить их хронологически, что несомненно правильнее, тем более, что никаких причин против этого в работе Горбачева не усматривается.

Но начну по порядку.

В первом очерке о «переживших себя», т.-е. о Бальмонте, Брюсове и присных, автор совершенно легко на 11 страничках успевает поговорить более чем о тридцати писателях и поэтах, начиная от Бальмонта и кончая Э. Германом. Правда, говоритон весьма лаконично, а о некоторых только мимоходом и скользь, но все же такое скоропалительное обозрение даже и переживших себя совершенно невозможно.

И не даром впопыхах он заметил у Брюсова, как прозаика, только «два неплохих исторических романа и несколько рассказов и драм» (стр. 32). В том-то и дело, что не «несколько рассказов», а целых два тома, не считая разбросанных по журналам и альманахам и не собранных в одно.

Романы же Брюсова не «неплохие», а определенно хорошие. И напрасно Горбачев упоминает о них, повертываясь спиной. Традиция того повествования, которое развертывает Брюсов в «Огненном ангеле», имеет довольно крепкую линию в Кузmine, Садовском, Ботанике X. и Каверине, существует сейчас и поэтому с ней поневоле приходится считаться.

Итак, по Горбачеву, Брюсов писал неплохо, а вот у Эренбурга в «Курбове» он обнаружил: «Яркость отдельных мест», «мастерство техники» и знание звуковой стихии языка (стр. 45).

Относительно «отдельных мест» я говорить не берусь, но «мастерство техники» следует разяснить. Если автор подразумевает под мастерством заимствования приемов Белого, то и с этим я не согласен. Техника фельстона—пожалуй, но и то в «Курбове» она слабее, чем в «Тресте Д. Е.» и в «Хуренито».

«Стихия же языка» для Эренбурга, мне кажется, менее известна, чем устройство парового отопления, которыми, сколько я знаю, он не занимался.

Толстой, например, Горбачеву не нравится и нагоняет на него зевоту:

Он признается, что, читая его романы, подглядывал, «сколько осталось до конца» (стр. 63) и нашел форму их «рыхлой, страшно (!) растянутой, язык—старым, смучным, тусклым» (стр. 67). Но почему это так—остается тайной и для самого автора, ибо ничем он этого не доказал и все свое рассуждение о форме ограничил не более, чем семью строчками, самые основательные из коих я цитирую выше.

Разбирая Пильняка, Горбачев уже более подробно говорит о формальной стороне его вещей, но не потому ли это, что его обяснить проще, чем Толстого, ибо у Пильняка приемы почти обнажены и все спито не спех сапожной драгвой.

Серапионов Горбачев признает только трех: Никитина, Слонимского и Зощенко. Тихонова от этого братства он отставил за то, что тот не имеет «по существу ничего общего с серапионовским направлением» и к тому же пишет стихи, а не прозу; Каверина за то, что он занимается стилизацией под Гофмана (какой грех! Б. А.), а Федина за колебания между Чеховым и «романтической фантастикой и революционно-исторической трагедией» (стр. 92).

Переходя к Тихонову, автор меланхолически замечает, что «о форме тихоновской поэзии много не скажешь» (стр. 106), но, распространяя это только на период «Орды» и «Браги», о новых его стихах он пускается в весьма любопытные изысканья и попутно делает весьма замечательное открытие о ямбе: «немногоотдный ямб воспринимается нами теперь, после символизма, как размер слишком «простой», маломыслительный, близкий к разговорной речи» (стр. 115).

Очевидно, Горбачев не имеет ни малейшего представления о существе этого метра, самого разнообразнейшего из всех существующих и, очевидно, ему неизвестно, что этим «немногоотшным ямбом» написаны «Евгений Онегин», «Медный Всадник» и тысячи других поэм и стихов. Символисты же не только не исчерпали ямба, но обогатили его, дав новые ритмы и указав возможности еще многих, не использованных и сейчас.

Все рассуждения его о форме тихоновских стихов весьма сомнительны и все эти угадываемые им «анакрусы», «леймы» и «нажимные согласные» представляются в его передаче в виде дремучих джунглей.

Вообще, он плохо справляется с формой и в критических случаях цепляется за Эйхенбаума (очерк о Маяковском). Замечательно и то, что автор старается избежать формального объяснения тех вещей, которые мало в этом отношении исследованы или трудно объяснимы. Так, он находит, что «многого о Тихонове не скажешь», но распространяется о Маяковском, имея под руками спасительного Эйхенбаума, и молчит о Толстом, анализируя Эренбурга и Пильняка, форму которых, как резче выраженную, разбирать проще.

В обоих очерках о поэтах, о Тихонове и Маяковском, автор широко пользуется переводом с русского на русский, давая сначала цитату, а потом объяснение ее своими словами. Это скучно.

В последнем очерке о «Революционной художественной прозе» он почему-то старательно рассуждает о писателях, еще не имеющих своего лица, и, в частности, о Борецкой и ни звука не говорит о Федоре Гладкове, чьи права на подробный разбор совершенно бесспорны. Гладков уже крепко стоит на своих ногах, и о нем говорить интереснее, чем о Борецкой и других, только начинающих ползать.

Как критик, Горбачев в этой книге для характеристики писателя применяет «и марксистский анализ содержания произведений и результаты формальных наблюдений своих и чужих (главным образом. В. А.) над этими произведениями» (стр. 11) и находит необходимым «стараться (1) социологически объяснить данную художественную форму» (стр. 105).

Формальные наблюдения Горбачева, как мы видели, не блистательны, социологическое же объяснение их дальше общих мест не идет. Так, он пытается утверждать, что «форма кратких повестей и рассказов была подсказана Чехову... лирико-романтическим заданием и возрастающей властью делового, нервного занятию, рассеивающего внимание года» (стр. 16), но как он объяснит

то, что умерший года три тому назад французский писатель Марсель Пруст написал с е м н а д ц а т и т о м н ы й роман «В поисках потерянного времени»? А ведь власть города во Франции сильнее, чем у нас и тем более сильней сейчас во времена Пруста, чем в чеховские.

Марксистский анализ содержания применяется Горбачевым более удачно. Не открывая Америк, он свободней чувствует себя в этой сфере, но все же его идеологическая критика, мало объясняя произведения, как таковые, сбивается на общие фразы и переходит в наставнические поучения.

В соединении этих двух методов — марксистского и формального — определенно усматривается эклектизм. Хотя Горбачев в предисловии и пытается доказать, что эклектизм тут не при чем, точка зрения его неизменно остается эклектической.

Пишет Горбачев не совсем по-русски: напр., «страшно (!) мало» (стр. 147), «пара десятков лет» (стр. 215), или такая фраза:

«...Творчество писателя, это... зеркало жизни, не просто ее отражающее, но отражающее только в части ее, зато о н (?) увеличивает... то, что отражается...» (стр. 91). *

Нельзя сказать, чтобы язык автора был безнадежно уныл и неряшлив, но шерстинки в нем попадаются.

При всех своих недостатках Горбачев все же не застыл на одной точке, не закоснел на одном псевдонепреложном каноне, он может учиться и понимать, и в будущем, возможно, даст более зрелые очерки.

Замечательная опечатка венчает его книгу: в оглавлении вместо «Жанны Ней» напечатано «Жанна Н э п» и мне думается, что эту опечатку Горбачев объяснит удовлетворительнее, чем сложные и многообразные явления современной русской литературы.

Борис Анибал.

И. Н. Кубиков. — Глеб Успенский. Государственное Издательство. Критико-биографическая серия. М. 1925. 120 стр. Ц. 90 коп.

Рекомендуем читателям эту полезную книжку.

Автор поставил себе четкую задачу: в рамках биографических сведений

охарактеризовать писательскую деятельность Гл. Успенского в ее постепенном развитии и в ее тематике. Кратко описав отроческие и студенческие годы Успенского, выступление на литературное поприще, женитьбу и поездки за границу, автор отмечает этапы в развитии его литературного творчества и затем в отдельных главах пересматривает произведения писателя, изображающие жизнь, типы, движения в рабочей среде, в крестьянстве, в интеллигенции. Особую главу Кубиков посвящает полицейскому режиму в очерках писателя и перелому настроений интеллигенции в 80-х годах. Две главы посвящены отношениям Успенского к революции, социализму, капитализму и рабочему движению. Последняя глава дает общую характеристику Успенского, сведения о последних годах жизни и итоги. В приложениях находим: 1) хронологическую канву жизни и творчества Успенского, 2) справку об изданиях его сочинений и 3) перечень главнейшего в литературе об Успенском.

В этой литературе разбираемая книжка является первым общим литературно-биографическим очерком Успенского. Автор внимательно изучил сочинения Успенского, его переписку, воспоминания о нем и другие материалы. Не вдаваясь в большие подробности, не задаваясь специально-исследовательскими целями, Кубиков общедоступно излагает итоги своих изучений и хорошо вводит читателя в понимание Успенского.

Владея ясным пониманием социально-экономического развития России 60—80-х годов, Кубиков отчетливо видит и показывает устарелости и ошибки в идеологических построениях Успенского, его народнические идеализации и иллюзии. Но критик, вместе с тем, обладает большой терпимостью и чуткостью и умеет выделить все ценное и крупное в литературном наследии этого народолюбца. Начинаящий читатель Успенского найдет в Кубикове хорошего руководителя.

Следует отметить, что в этой книжке найдется ценное и для читателей-специалистов. Кубиков пользуется не только общедоступными собраниями

сочинений Успенского, но и текстами, не вошедшими туда, или там напечатанными в переработке. Таков рассказ «Шила в мешке не утаишь», впервые напечатанный за границей; таков рассказ «Злые новости», оставаясь на любопытном моменте в развитии социально-политических воззрений Успенского, а именно на его временном увлечении постепенностью, теорией «скромных дел», Кубиков цитирует характернейшие строки Успенского, найденные им в «Русских Ведомостях» 1887 г., и самими Успенским выброшенные из собрания сочинений.

Несомненно, книжка ответит запросам очень широких кругов читателей. Во втором издании хотелось бы видеть несколько дополнений. Автор очень скуп на биографические сведения. Мы, напр., ничего не узнаем о жене Успенского; а ведь она была незаурядный человек и заметный культурный и литературный работник. Мало сказано о журналах, в каких сотрудничал Успенский. Связи его с революционерами 70-х годов еле намечены, а они очень показательны. Любопытный момент борьбы с Марксом в сознании Успенского (Успенский готовил целую статью о Марксе) вовсе не указан. Выработка чисто-художественных приемов у Успенского не охарактеризована, как и связи его с общим литературным движением его эпохи (напр., с Салтыковым, с беллетристами-народниками). Все это, при обширных сведениях, какими располагает И. Н. Кубиков, ему нетрудно сделать, читателям же будет полезно.

Н. Пуксанов.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартаневым. Вступит. статья и примеч. М. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1925 г. Стр. 140. Тир. 2.100 экз. Ц. не ук.

Ко дню 126-летия со дня рождения Пушкина эта книга—прекрасный подарок, вышедший как раз к празднуемой годовщине.

Записи Бартанева, последнего хранителя живой устной Пушкинской традиции, любовно и бережно собранного материала по биографии

поэта, исключительно интересны и ценны.

Между нами и Пушкиным лег целый век, Пушкин загоразживался от нас громаднейшей пушкинианой, в примечаниях и транскрипциях которой не видно было его, как человека.

Бартенев в записях своих, сделанных со слов ближайших друзей Пушкина, показывает его живым человеком, не тем, которого «роскошно» издал Брокгауз, а просто *Александр Сергеевичем*, любящим париться в бане, верхом на лошади слагавшим стихи и неохотно ездившим «на так называемые литературные вечера».

Из отрывков, отдельных замечаний и мелочей слагается дорогой образ.

Пушкин - ребенок, воображающий себя богатырем, когда на прогулках сбивает палкою головки растений; Пушкин, в шутку приволокнувшийся за кривой рыжей чиновницей и женой Карамзина; Пушкин, удивляющий своими многосторонними знаниями египтолога Гуляйнова и объясняющий классику Мальцову Марциала; Пушкин, едущий верхом на лошади и слагающий сцену у фонтана для Бориса Годунова; Пушкин у гадалки; Пушкин, венчающийся в чужом «счастливом» фраке, плачущий при рождении первого ребенка, и Пушкин, в молчании едущий на дуэль...

Записи Бартенева, уделяя главное внимание жизни и человеческому облику поэта, затрагивают также и некоторые стороны его творчества, давая отдельные любопытные черты его.

Так, из них узнаем автобиографичность эпизода проникновения Германа в спальню старой графини (Пушкин на свидании у гр. Фикельман).

Большая часть записей Бартенева сложилась из рассказов П. В. Нащокина, ближайшего друга Пушкина, о котором покойным М. О. Гершензоном дана хорошая статья в «Мудрости Пушкина». В общем же Бартенев записал рассказы двадцати одного лица, лично знавших поэта и несомненно правдивых и авторитетных.

Отличные и нужные примечания, углубляющие и разъясняющие рас-

сказы о Пушкине, даны к этой книге М. Цявловским, они читаются с таким же неослабевающим интересом, как и тетрадь самого Бартенева, издав которую, безукоризненное, но несколько чопорное, издательство Сабашниковых сделало ценный и редкий вклад в литературу о человеке Александре Сергеевиче Пушкине.

Борис Анибал.

Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. Сборник. Государственное Изд. 1925 г. Стр. VIII 220. Тираж 10.000. Цена 1 руб. 50 коп.

Название этого очень своевременного выпущенного сборника значительно шире несколько односторонне сгруппированного в нем материала. Основным вопросом собранных докладов, речей, статей и резолюций является спор о художественной литературе. Протоколы совещания о политике партии в художественной литературе 9 мая 1924 г., стенограмма речи т. Бухарина на февральском совещании с. г., статьи т.т. Варейкиса и А. Воронского, резолюция Всесоюзного Совещания пролетарских писателей, последняя резолюция ЦК РКП(б) о политике партии в области художественной литературы — занимают больше всего места в сборнике. Таким образом, спор о литературе освещен здесь только незначительной частью огромного, разбросанного повсюду, материала многочисленных совещаний, диспутов и печатных дискуссий. Не претендуя ни в какой мере на полноту освещения важной стороны культурного строительства, именно художественной литературы (о полноте не приходится говорить: почему в самом деле из февральского совещания взята только одна речь т. Бухарина, правда, очень ценная, а из Всесоюзного Совещания пролетарских писателей ни одной речи?), сборник связывает художественную область культурного развития с основной проблемой культуры. Спор о литературе вытекает из конкретной, насущной, стоящей перед нами задачи о методах строительства подлинной пролетарской культуры. А в решении этой задачи решающее слово принадлежит В. И. Ленину. Заметкам Владимира

Ильича на полях статьи т. Плетнева принадлежит центральное место в сборнике. Эти лапидарные заметки ценнее иных статей и книг. Их богатое содержание вскрыто и разработано в статье т. Яковлева, проредактированной Лениным. Не случайно настоящий сборник связывает вопросы культуры с богдановщиной. Острые заметки Ленина направлены против голого схематизма, неверных формул Плетнева о создании классовых надстроек, пролеткультовской отвлеченности—этого тяжелого наследия, оставшегося от Богданова в Пролеткульте и пролетарской литературе. Нечего греха таить, Богданов через Пролеткульт оказал большое и теперь ясно, насколько отрицательное влияние на развитие пролетарской литературы. Заметки Владимира Ильича и последняя резолюция ЦК РКП(б) о политике в области художественной литературы, ставя все точки над *i*, помогают избежать ошибки пролеткультовщины и болезни комчванства в пролетарской литературе. Вопрос о командовании в искусстве раз навсегда отпадает, вопрос о гегемонии пролетарской литературы ставится в плоскость создания условий для завоевания гегемонии. Последние успехи пролетарских писателей подтверждают правильность взятого курса.

Несмотря на неполноту материала, сборник представляет большую ценность для культурно-просветительных организаций, особенно для литературных кружков. Факсимиле заметок Владимира Ильича делает книгу особенно близкой и необходимой всем интересующимся вопросами культуры. К сожалению, цена сборника высока.

Г. Я

«Февральская Революция». Мемуары Родзянко, Милокова, Керенского, Шульгина, Деникина, Лукомского, Пешехонова и др. Составил С. А. Алексеев. «Госиздат». 1925 г. 510 стр.

Прочитав эту книгу, нельзя не согласиться с тов. Усагиным, говорящим в предисловии к ней:

«Это—в полном смысле слова обвинительный акт против всего эллипетовского движения. Акт тем более неотразимый и убийственный, что

он написан не прокурором, а самим обвиняемым. С откровенностью, доходящей подчас до цинизма, рассказывают они (белогвардейцы) на протяжении сотен страниц о бесчисленных преступлениях своих против народа».

Перед нами проходят различные представители отошедшей в безвозвратное прошлое царской России,—люди, казалось бы, стоящие в политических своих воззрениях на почетном друг от друга расстоянии. И что же оказывается? Родзянко, Шульгин, Милоков, Пешехонов, Вырубова, Лукомский, Воронович, Керенский и др. братски объединены между собою единым чувством ненависти к совершившемуся революционному перевороту. Как будто все существовавшие между ними различия были начерчены мелом. Прошла гроза и все различия исчезли. Много самых разнообразных лиц превратилось в одно лицо, искаженное страхом и злобою. Не все, однако, из перечисленных лиц имеют мужество быть до конца откровенными. Так, например, Пешехонов обывательски отшучивается от великих событий, будто речь идет не о революции, потрясшей мир, а об очередном провинциальном обзоре для «Русского Богатства»; корректно сдержан и скрытен Милоков; сухо рапортуют царские генералы Деникин и Лукомский. О Керенском говорить не приходится: он представлен в книге всего лишь несколькими страницами. Зато донага разделелись княгиня Палей и «тенор» царской адвокатуры Карабчевский. Первая плещет бешеной пеной сварливой базарной торговки, второй, хвастая своей «великосветскостью», влбствует из-за потерянной доходной адвокатской практики. «Мой прекрасный автомобиль» и «мой уютный особняк»—вот чем заполнены эти две пустые головы. А коль скоро революция отняла и то и другое, значит, она ужасна, отвратительна. Таковы смысл и содержание их воспоминаний. Много интересного находим мы в воспоминаниях Родзянко. Вот как, по его словам, подливали масла в огонь чудовищной империалистской войны «народные избранники», заседавшие в думе:

«За все время существования Государственной Думы не было

ни одного случая отказа в открытии кредита на военные нужды: давалось всегда все без отказа, часто давалось даже больше, чем требовалось».

Но думцы были, по словам Родзянко, не только пособниками войны,—в значительной мере они являлись и ее вдохновителями, застрельщиками: в весеннюю сессию 1914-го года в Государственной Думе прошел законопроект о большой военной программе, который не мог не дать повода к вооруженному столкновению с Германией. Провокационный вызов этого законопроекта был ясен всей Думе без исключения, и все же он был принят. В каком положении очутились рабочие и крестьянские массы, брошенные в пасть войны нашей буржуазией, явствует из нижеследующих слов «маститого» думца:

«При поездке моей на фронт весной 1915 года я был свидетелем, как иногда отбивались неприятельские атаки камнями, и даже было предложено вооружить войска топорами на длинных древках».

И все же, несмотря на множество совершенно напрасных жертв, понесенных Россией, твердое решение продолжать войну до «победного конца» «народные избранники» пронесли в целости и сохранности до февральской революции включительно.

Квинт-эссенция рецензируемой книги сосредоточена в выдержках из мемуаров Шульгина, который го-

ворит не только от своего имени, но и от имени всей зарубежной белогвардейщины. Ее подлинный представитель и выразитель—цинично-откровенный, литературно одаренный человек, Шульгин. Он высказывает то, что другие не смогли или не захотели высказать.

«Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас...».

Все думцы справа налево боялись революции, не хотели ее, ненавидели. «Прогрессивный» блок был создан с единственной целью—стать меж народом и революцией, валериановыми каплями умеренного либерализма утишить гнев рабочих масс, уже хлеставший через край в 1915 году.

А когда тормоза думцев оказались бессильны задержать переворот и революция наступила, вот какое «праздничное» настроение овладело каждым из депутатов:

«С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции».

Нет лучшей агитации против белогвардейцев, как их же собственные призывания. Вот почему данная книга должна быть рекомендована широким читательским кругам.

Федор Жиц

Редакторы { *А. В. Луначарский.*
И. И. Степанов-Скворцов.

Издатель: Издательство «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».